

A landscape photograph showing a river in the foreground with lily pads. The middle ground is a dense forest of green trees on a bank. The sky is a mix of pink and purple, suggesting a sunset or sunrise. The text is overlaid on the upper part of the image.

"Я сам свою жизнь  
сотворю..."

"Мои университеты".  
В обсерватории.  
На аэродроме.

Геннадий Кумохин

**Геннадий Вениаминович Кумохин**  
**«Я сам свою жизнь сотворю...»**  
**«Мои университеты». В**  
**обсерватории. На аэродроме**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=70625818](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70625818)*  
*SelfPub; 2024*

**Аннотация**

Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реальными людьми случайно. В книге помещены три главы романа: «Мои университеты», «В обсерватории», «На аэродроме», следующие за первыми главами «Лепестки сакуры» и «Белый город». В коротких рассказиках, именуемых автором клипами, рассказывается об учебе, работе в обсерватории, службе на аэродроме. Любовь и семья помогают преодолевать возникающие жизненные трудности. Автор является собственником архива фотографий и художником обложки.

# Содержание

«Мои университеты»	6
Первокурсник	6
Первая сессия	15
Девятнадцатая весна	20
Марь Иосифовна	25
Наташа	29
Алексеев	37
Летняя практика	49
Последние курсы	52
Случайное знакомство	56
Дом Пашкова	75
Скачко	89
В обсерватории	93
Первая командировка	93
В горах Заилийского Алатау	101
В обсерватории	108
Шевченко	113
Механик	116
Тренировка на расслабление	118
Тоска по любимой	121
Любовь с привилегиями	125
«Луноход -2»	128
Экзамен по диамату	131

«Привет участникам...»	137
Черемуховые холода	142
На аэродроме	149
В Иркутске	149
В Чагане	153
Моя «декабристочка»	158
«48»	161
Тревога	168
Масленица	172
Летнее утро	177
Лимоновка	180
"Извините, не заметил"	182
Чубчик	185
Конец двойной жизни	188
Ненужные встречи	190
Последние дни в армии	198
Письмо из Чагана	201
Из Гейне	205

**Геннадий Кумохин**  
**"Я сам свою жизнь**  
**сотворю..." "Мои**  
**университеты".**  
**В обсерватории.**  
**На аэродроме**

«Я сам свою жизнь сотворю,  
И сам свою жизнь погублю.  
Я буду смотреть на Зарю  
Лишь с теми, кого люблю».  
А. Блок

# «Мои университеты»

## Первокурсник

И вот – я студент. Начинаясь новая, взрослая жизнь, в которой я знал только одно – мне предстоит много учиться.

Правда, учиться по институтским предметам я планировал как бы вполсилы, и, как оказалось впоследствии, свои силы я несколько переоценивал.

Мне кажется, что учебную программу по нашей специальности готовили не очень продуманно. Так, уже в первом семестре, для новичков, еще не освоивших начал высшей математики, был курс под названием «Математические основы кибернетики» – МОК, где на полном серьёзе нам, например, давали задачу «Полет на Луну». И это исключительно с помощью математических формул, практически без единого слова комментариев. Ну и так далее.

Насколько я понимаю сейчас, эти предметы нам читали специалисты из ЦКБ, расположенного поблизости в Подлипках, теперешнем Королеве, а продумать их последовательность и связь с базовыми курсами никто не удосужился.

Что же оставалось бедному студенту?

Можно было, конечно, самостоятельно освоить дифференциальные уравнения, которые, по программе мы долж-

ны были изучать позже, а потом уже с полным пониманием учить эти спецкурсы.

Но такие студенты если и были, то в явном меньшинстве. Остальным приходилось попросту зубрить.

Была у меня еще одна проблема. На лекциях мне, как правило, доставались места в дальней части аудитории, а к тому времени я уже достаточно испортил зрение бесконечным чтением, так что разобрать, что пишет лектор на доске, я уже не мог. Приходилось списывать у соседа. Если учитывать, что лекторы были у нас очень немногословны, то можно представить во что превращались для меня такие лекции.

Что же касается таких предметов как «История КПСС», то это вообще было как рвотный порошок.

Поэтому очень скоро я принял кардинальное решение – на лекции не ходить вообще.

Кстати, большинство ребят из общежития независимо от меня приняли аналогичное решение. И связано это было вот с каким обстоятельством. В отличие от ребят, больше склонных лени и разгильдяйству, девушки нашего потока, живущие в общежитии, подобались сплошь аккуратные, трудолюбивые, к тому же с каллиграфическим почерком.

Ребята быстро смекнули, что гораздо легче воспользоваться чужим конспектом, написанным настолько подробно, что там содержались даже шутки преподавателя, желающего немного развлечь аудиторию, чем разбирать собственные каракули.

Оставались практические занятия и семинары, явка на которые была обязательна, к тому же староста группы вел журнал посещаемости. Но они начинались не сначала семестра, а ближе к его концу, непосредственно перед началом зачетной сессии.

Как ни мало я ходил на занятия, составить представление о категориях новоиспеченных студентов, было не очень трудно.

Большинство ребят были из районов ближайшего к институту Подмосковья. Они знали о нашем факультете и строили свои планы на будущее с учетом возможной работы на одном из почтовых ящиков, расположенных поблизости.

Среди москвичей и жителей Подмосковья выделялась группа ребят, которых я условно мог бы назвать «залетными». К ним я самокритично относил и себя. Это были люди, случайно оказавшиеся на этом факультете. Многие из них поступали в престижные вузы столицы: МГУ, МИФИ, МФТИ, но не прошли по конкурсу или провалились.

Характерной чертой этих ребят было несколько высокомерное ко всему отношение и весьма поверхностный, я бы сказал, «шапкозакидательский» взгляд на учебу.

Кстати, большинство из тех, кого отчислили после первого семестра, были ребята именно из этой категории.

На нашей специальности было совсем мало девушек. В нашей группе всего три на человек двадцать ребят.

А в общежитии с нашего потока жили только четверо ре-



бят.

В большом пятиэтажном общежитии, расположенном как раз напротив института, располагались буфет, красный уголок с цветным телевизором первого поколения «Радуга», профилакторий, разные подсобные помещения и душевая, в которой один день был мужской, а другой женский.

На первых этажах жили студенты основных факультетов: обработки древесины и организации производства.

Пятый этаж был отдан нашему факультету. В правом крыле п-образного этажа жили ребята, а в левом – девушки. Мы застали еще чуть ли не первый набор факультета. Это были парни значительно старше нас, успевшие отслужить в армии и придерживающиеся в общаге типичных бурсацких порядков.

Однажды в воскресенье утром мы проснулись от истошного визга, исходившего из крайних комнат левого крыла, но постепенно смещавшегося к центру. Оказывается, один из старшекурсников, некто Капитанов, проигрался ночью в преферанс и теперь должен был выполнить желание: пройти голым по карнизу внутреннего периметра пятого этажа и постучать по очереди в окно каждой комнаты. Что он в точности и выполнил.

Весь институтский городок, вместе с примкнувшим к нему небольшим дачным поселком, находился в треугольнике, образованном железнодорожными путями двух Подмосквовных направлений. Замыкал боковые стороны этого

треугольника кардиологический санаторий, центральная дорожка которого протянулась почти до платформы «Подлипки».

Со стороны поселка никаких ограждений в санаторий не было, и две, или три асфальтированные улочки поселка естественным образом переходили в тропинки санатория.

Первым делом с прибытием в институт я определился с маршрутом моих ежедневных пробежек. Утром, пробегая по улочке, ведущей к железнодорожной платформе, я иногда встречал своих однокурсников, спешащих на первую пару лекций.

В общежитии я долго плескался родниковой водой в угловой комнате, где вдоль стен стояли раковины с типовыми латунными кранами. Горячей воды на этаже, естественно, не было.

Иногда повторно я выбегал уже в глубоких сумерках. В этих случаях можно было позволить себе выбрать освещенную дорожку санатория. А можно пробежать по тропинкам между редких стволов сосен и густого березового подлеска, никак не регулируемого на подступах к поселку. При этом мне приходилось передвигаться легкой трусцой, на цыпочках, стараясь едва касаться земли, перевитой толстыми корнями вековых деревьев.

С началом учебы на первом курсе в общежитии не оказалось достаточного количества свободных мест, и нас поселили впятером в комнате, рассчитанной на четверых. Са-

мым старшим из нас оказался только что отслуживший в армии парень. Он попытался установить в комнате атмосферу казармы, причем для себя отводил роль старослужащего. Все бы ничего, но мне не нравилась его привычка приводить в комнату на ночь подружку. Ребята жаловались, что скрип пружин не дает им уснуть, а мне это не мешало – я засыпал мгновенно.

К новому году появилась возможность немного разуплотниться, и меня, как самого некомпанейского, явочным порядком перевели в комнату к заочникам.

Я имел возможность познакомиться с распорядком дня «вечных» студентов, потому что некоторые из них учились уже по многу лет. Просыпались они часам к двенадцати, завтракали в обед, затем иногда шли в институт. К вечеру набиралось в нашу комнату человек десять, поиграть в карты, в основном в «дурака». К полуночи начинали жарить картошку и ужинать под водочку. Поскольку я в одиннадцать часов всегда ложился спать, то однажды у честной компании возник резонный вопрос: а действительно ли спит этот «чудик» или притворяется. Попробовали разбудить, не проснулся. Пощекотали – ноль реакции. Тогда решили взять за руки и за ноги, поднять и потрясти.

Когда и после этого я не проснулся, решили больше не проводить экспериментов.

– Да этот парень просто железный, – сказал кто-то, и меня зауважали.

В общем, это были славные ребята. С некоторыми я подружески общался вплоть до конца своей учебы.

После окончания сессии заочники разъехались и на освободившиеся места начали заселять моих однокашников. На правах старожила я ставил перед новичками простые условия: в комнате не курить и подружек на ночь не водить. Теперь уже никто не мешал мне в свободное время усесться на кровати, подложив под спину подушку, и читать очередной том «Всемирной истории» или «Всеобщей истории искусств».

Эти книги я обнаружил в институтской библиотеке и брал в общежитие по одному увесистому тому.

В суеде новых впечатлений и знакомств я ни на минуту не забывал о своей главной цели, ради которой я, собственно и поступил в этот институт.

Еще в середине восьмого класса я выбрал для себя программу самообразования и с тех пор старался ей неуклонно следовать. Уже в одну из первых поездок в Москву я получил читательский билет в общий зал библиотеки имени Ленина, который располагался в Доме Пашкова.

Уже божественной красоты одного этого здания хватило бы для того, чтобы непрестанно манить меня. Но здесь было то, что я ценил больше всех сокровищ мира – книги, неисчислимое множество книг. И самое главное – я мог выбрать любую из них и уже через час получить ее.

В одно из первых посещений Музея изобразительных ис-

кусств имени Пушкина я попал на выставку графики Пикассо. Вернее, не то что бы так просто взял и попал. Для того, чтобы пройти в музей, мне пришлось часов пять простоять в очереди, которая опоясывала почти половину ограды музея. И это был я, который терпеть не мог очередей и готов был отказаться от чего угодно материального, лишь бы не стоять в унижающей, как мне казалось, человеческое достоинство толпе.

Но эта очередь не казалась мне унижающей чье-либо достоинство, и то же самое испытывали люди, стоящие вокруг, которые оживленно переговаривались и спорили о достоинствах работ этого художника.

Все это только еще больше возбуждало мое любопытство.

Еще большее столпотворение происходило в самом Пушкинском музее. Мне приходилось проталкиваться к картине то и дело отвлекаясь, для того чтобы послушать аргументы той или иной оживленно спорящей группы людей. Нельзя сказать, что картины Пикассо оставили меня равнодушным. Нет, они поражали, возбуждали и отталкивали одновременно, но в гораздо большее возбуждение приводили меня рассуждения о теоретических идеях, на основании которых они создавались.

Мне было трудно уследить за аргументами спорщиков, которые ссылались на работы неизвестных мне художников и авторов работ о теории живописи. Чаще других звучали имена: Монэ, Гоген, Ван-Гог, Сезанн, непривычные названия:

импрессионизм и постимпрессионизм. А также автора книг – Ревальда.

Усталый, но до крайности заинтригованный вернулся я в общежитие, решив разобраться в хитросплетениях аргументов самостоятельно. При первой же возможности я отправился в Ленинку и заказал книгу Джона Ревальда «История импрессионизма».

Книга настолько захватила меня, что я прочел ее от корки до корки, потом отправился в Пушкинский музей, для того, чтобы посмотреть только на эти картины. Итогом этой экскурсии явилось то, что я влюбился в живопись импрессионистов. В известном смысле у меня буквально открылись глаза на окружающий мир.

И до того равнодушный к природе, я учился как бы заново ее видеть, и это приносило мне большую радость.

Я купил в Пушкинском музее абонемент на пару самых интересных циклов лекций о французской живописи. Некоторые из лекций читала, как мне кажется, сама Ирина Антонова.

А еще я приобрел абонемент в Малый зал Консерватории на цикл популярной классической музыки, с вступительным словом на который выходила еще молодая Светлана Виноградова.

И абонемент на балкон в Концертный зал Чайковского, по-моему, на цикл органной музыки.

Так я начал свою студенческую жизнь.

# Первая сессия

Первые месяцы учебы в институте пролетели почти незаметно, а когда начались зачеты, мы всем своим нутром почувствовали приближение грозной экзаменационной сессии, которая для некоторых из нас должна была стать последней в этом институте.

Начало экзамена по математическому анализу, первого в моей студенческой жизни, казалось, не предвещало ничего плохого. Я бодро вытянул билет и сел за третий или четвертый стол готовиться. Правда, мне несколько мешали тетрадные листы, которые сунул мне кто-то перед самой дверью в аудиторию, очевидно из самых добрых побуждений. Я до сих пор ни разу не пользовался шпаргалками, и не собирался делать это и сейчас, поэтому я вынул листки и сунул их в открытый ящик стола.

Скоро ответы на билет были готовы и, дожидаясь своей очереди, я от нечего делать стал смотреть по сторонам. Передо мной сидел Саша Цыкин, маленький тихий парнишка. Я с интересом наблюдал, как он умудрялся перелистывать листы конспекта правой ногой, в то время, как сам конспект лежал у него на левой. В конце концов он его уронил. Наш преподаватель быстро подошел к нему, поднял конспект и, не сказав ни слова, отдал ему зачетку «неуд».

Затем он подошел ко мне и вынул листки из моего стола:

– Это что такое?

Я сказал правду:

– Это я случайно взял листки, но они не по моему билету!

– Да? Нет, именно, по-вашему!

Я не поверил своим глазам, увидев, что это был конспект, действительно, по моему билету. Наверное, изумление мое было настолько неподдельным, что суровый преподаватель разрешил мне взять другой билет.

Я схватил новый билет, сел за стол прямо перед преподавателем и начал быстро писать.

– Так, теорема Вейерштрасса, – лихорадочно вспоминал я, – этот билет я точно знаю, сейчас напишу, и все будет нормально, как всегда.

Я справился действительно быстро и, молча, протянул листки преподавателю.

– Молодой человек, – строго спросил педагог, – что это вы мне написали? У вас в билете принцип Вейерштрасса.

И тут я понял страдания Германа из «Пиковой дамы», когда вместо туза он достал из колоды пиковую даму. А я, выходит, перепутал, два похожих вопроса с одной и той же фамилией: принцип Вейерштрасса и теорему Вейерштрасса.

Короче, я оказался за дверью с пустой графой в зачетке. Моя первая «двойка».

– Как же так, – кипел я от негодования я, – честно написал два билета и получил двойку. Это просто чудовищное невежество!



Между тем, невезение продолжалось.

Следующий экзамен был по начертательной геометрии, в которой я чувствовал себя не очень уверенно. Разумеется, мне выпал билет, ответы на который я знал хуже всего. Преподаватель приглашал студентов по двое за стол напротив себя, и с теми, у кого была не заполнена графа напротив экзамена по математике, видимо, особенно, не церемонился.

Рядом со мной оказался высокий красивый парень, по моей классификации, явно из «залетных». Графа по прошлому экзамену была пустой у нас обоих.

Экзаменатор бегло проглядел написанные листки у «залетного».

– Все три вопроса не верны. Идите – «два».

Настала моя очередь.

– У вас, молодой человек, правильными можно назвать ответы только на полтора вопроса из трех. Идите – тоже «двойка»!

Однако я решил так просто не сдаваться.

– Скажите, – задал я вопрос преподавателю, – вот, передо мной был товарищ, который не решил ни одного вопроса и получил два. Правильно? Тот кивнул.

Я продолжил:

– А я ответил правильно, как Вы сами сказали, на полтора вопроса. Так неужели эти полтора вопроса не стоят хотя бы одного дополнительного балла?

Подобная наглость, видимо, позабавила, этого, еще не ста-

рого преподавателя, он хмыкнул и поставил мне «тройку».

Я вышел из аудитории с видом победителя.

Остальные экзамены прошли без происшествий.

Я вернулся в институт после каникул на несколько дней раньше положенного срока, и все оставшееся время готовился к экзамену по матанализу.

Я зубрил целыми днями, а, выходя на прогулку в санаторский парк, гулял по заснеженным аллеям и без конца прокручивал в уме формулы и ход доказательств.

Зима в том году выдалась снежная и морозная. Могучие сосны стояли с белоснежными шапками на вершинах и изредка потрескивали в морозном воздухе. Осмелевшие от холода белки прямо на глазах у прохожих перебежали от одного мощного ствола к другому. А в бездонной синеве неба светило низкое и холодное солнце.

Скоро уже не было ни одного примера из задачника, который бы я не решил. Короче, я подготовился с солидным запасом, и когда на повторном экзамене отвечал одной из ассистенток, та подошла к преподавателю с предложением поставить мне «четыре».

– Нет, – решительно ответил тот, – пусть будет «три», а там посмотрим.

Итак, я справился со сложной ситуацией и дал себе зарок впредь заниматься институтскими предметами более серьезно. Задним числом я должен признать, что не был добросовестным студентом. Часто прогуливал даже практические

занятия, а на лекциях вообще был редким гостем, и то, только тогда, когда разведка доносила о предстоящей проверке посещаемости.

Но, все-таки, у меня было, по крайней мере, одно смягчающее обстоятельство: я прогуливал одни занятия, только для того, чтобы попасть на другие.

К весне первого года я уже научился правильно распределять свое время. Два месяца каждое воскресенье и три – четыре будних дня я проводил в Ленинской библиотеке. Каждый мой день здесь проходил приблизительно одинаково: с утра – книги по философии и эстетике, затем перекус в библиотечном буфете, потом литература по живописи, а в заключение – художественная литература. Ужинал я, как, правило, в «Пирожковой» напротив Ленинки. Затем следовала прогулка по вечерней Москве и возвращение в общежитие на одной из последних электричек.

Со середины апреля приходилось вплотную приниматься за учебу в институте по моей основной специальности. Теперь уже удавалось вырваться в Москву только по случаю: по абонементу на концерт классической музыки или на лекцию по изобразительному искусству в музей имени Пушкина.

А в экзаменационную сессию не получалось и этого.

## Девятнадцатая весна

Я ехал в автобусе на экскурсию в Клин. Лицо парня, сидевшего напротив с девушкой, показалось мне подозрительно знакомым, но не из этой, а из какой-то прошлой жизни. Точно так же приглядывался и он ко мне.

– Славка?

– Генка!

Это был знакомый из параллельного класса еще по школе в Закарпатье. Мы быстро нашли общий язык. Оказывается, он, сын военного, давно живет в ближнем Подмосковье. После восьмого класса он пошел в техникум, а потом поступил на наш факультет и сейчас учится на втором курсе, опередив меня на год. Со своей однокурсницей они собрались в гости к Чайковскому.

Его подружка была тоненькая славная девушка, с крепкими икрами спортсменки. Я быстро заметил, что Славик явно в нее влюблен, а она, на правах старшей, держится с ним покровительственно.

Ах, как хорошо было бродить по разохшимся половицам музея и вдыхать тот же воздух, которым сто лет назад дышал и он, и слушать чудесную музыку русского гения.

И как славно было видеть рядом своих сверстников, которые были так же, как и я, очарованы и этой музыкой, и этой весной. Мне кажется, я был совсем не лишним в их компа-

нии, и они с удовольствием приняли меня как равного.

К сожалению, я наслаждался обществом этих прекрасных ребят совсем недолго. Помню, Славик дал мне почитать томик еще незнакомого мне поэта Бориса Пастернака, и я не сразу, но постепенно прикипел к нему душой. В конце мая мы ходили вместе в драматический театр, где я бывал гораздо реже, чем на музыкальных концертах, а затем расстались на каникулы.

Осенью у подружки Славика заметно округлился животик, и я понял, что она беременна. Но мой приятель был явно ни при чем, он просто места себе не находил. А она, видимо, еще надеялась выйти замуж за отца своего будущего ребенка, но и не отталкивала окончательно от себя влюбленного Славика. Чем закончилась эта драма, я так и не узнал, потому что они оба скоро перестали бывать в институте, а домашних телефонов тогда практически ни у кого не было.

По возвращении экскурсионного автобуса, я, как обычно, в одиночестве, отправился в санаторский парк. Было тепло, облачно, и в наступивших сумерках скоро невозможно стало разобрать отдельные предметы. Лес поразил меня, жителя юга, стремительно наступившими приметами весны. Он, еще недавно тихий, буквально взорвался разноголосым хором уже неразличимых птиц. Свисты и трели раздавались со всех сторон, и это чудесным образом гармонировало с еще продолжающей звучать во мне музыкой.

Скоро передвигаться по набухшему талой водой снегу ста-

ло даже небезопасно, и я, скрепя сердце, отложил утренние пробежки до лучших времен. Но едва снег сошел, я снова, уже совсем налегке, выбежал на зарядку. Асфальтовые дорожки успели просохнуть и вызывали сдержанный оптимизм. Сразу за концом асфальта начиналась тропинка с небольшой, не больше трех метров, лужицей.

Я ускорил шаг, оттолкнулся от края асфальта, с большим запасом перелетел через лужу, и поскользнувшись на мокрой, разбухшей глине, опрокинулся на спину и проехал так еще пару метров.

Делать было нечего. Я, как мог, отмыл в луже от прилипшей грязи спортивные штаны, а куртку просто свернул в комок, и в подозрительно грязной майке добрался до своего пятого этажа. Здесь я еще долго мылся в родниковой воде сам и отстирывал спортивную форму.

Как ни странно, даже это не очень приятное происшествие не могло испортить настроения. Как-никак, это была девятнадцатая весна моей жизни.

Наверное, тоже самое чувствовали и несколько сотен молодых ребят обоего пола, обитателей нашего студенческого общежития.

А когда наступил май, голова у нас и вовсе пошла кругом. Окна моей комнаты выходили на солнечную сторону. В послеобеденную пору из окон часто можно было видеть голые спины: широкие – ребят, и узенькие, с полоской ткани на уровне груди – девичьи.

Как-то раз, в воскресный день, когда я случайно не поехал в Ленинку, а остался позагорать у окна. Сеанс загара прервала налетевшая грозовая туча, с теплым дождем и гулкими раскатами грома. А потом снова выглянуло жаркое, почти летнее солнце.

Кому-то пришла в голову хулиганская выходка: свеситься из окна, так чтобы была хорошо видна голенькая девчоночья спинка в окне четвертого этажа, и плеснуть в нее родниковой водой из кружки. Так мы по очереди и делали. Но девчонки с соседнего этажа были тоже не лыком шиты. Раздавался громкий стук в дверь, парень выходил открывать, и в лицо ему выплескивали ответную кружку воды.

Шум, визги, полный восторг.

Когда солнце ушло, последовало примирение, официальное знакомство, вечерний чай, а потом несколько романов и одна студенческая свадьба. Жаль, только, что для меня, как обычно, пары не нашлось.

Приехав домой на летние каникулы, я с удивлением обнаружил как изменилась моя сестра. Куда девался прежний «гадкий утенок»? Она не только подросла и приобрела женские формы, но сделалась более яркой и симпатичной, а может быть, просто научилась пользоваться маминой косметикой.

В Светловодске в то лето я бывал в разных компаниях и в разговорах, часто с полужнакомыми людьми, заводил беседы о художниках-импрессионистах.

Сейчас, вспоминая то лето, я думаю о том, насколько наивен я был, пытаюсь словами передать людям то, что они, возможно, никогда и не увидят.

Но был ли я так уж одинок в своем увлечении? Уверен, что нет.



# Марь Иосифовна

Закончилось первое отделение концерта и я, по обычаю, прогуливался в фойе Малого зала Консерватории.

В душе у меня пела скрипка, продолжая только что услышанную божественную музыку Моцарта.

Вдруг я заметил Марию Иосифовну, нашу институтскую преподавательницу. Она вела у нас практические занятия по математическому анализу, предмету, с которым у меня с первой сессии были весьма натянутые отношения. Сейчас мои дела по большинству предметов заметно поправились, за исключением, пожалуй, одного математического анализа.

И виной тому в немалой степени была эта самая Марь Иосифовна. Я считал, что заслуживаю по предмету не меньше «4», а она норовила на практических занятиях поставить «3», а то и ниже. Это ставило под вопрос мой допуск к экзамену, и не могло не вызывать у меня чувства застарелой неприязни.

Как сейчас слышу ее пронзительный голосок с характерным прононсом:

– Кумохин, а ну ка, пожалуйста, к доске!

– Кумохин, а вы опять неправильно взяли этот интеграл!

Голос нашего преподавателя прекрасно научился копировать мой товарищ по общежитию Леша Игнатов, и каждый раз, когда он хотел мне испортить настроение, он просто по-

вторял одну из ее коронных фраз.

Марь Иосифовне было под пятьдесят, она была толстой, черной, с противной бородавкой под носом. Другой мой товарищ по общаге и по группе Вовка Швырев ходил у нее в любимчиках, и, хотя знал предмет не лучше моего, она неустанно гнобила одного меня.

Ну не мог же я ей объяснить, что я не просто лентяй, а есть у меня занятия, к которым я отношусь гораздо серьезней, чем к институтским предметам, на изучение которых я выделял время только поближе к очередной сессии.

Приглядевшись, я понял, что Мария Иосифовна наблюдает за женщиной, видимо, своей подругой, которая стояла за столиком у импровизированного буфета, неторопливо жуя бутерброд с копченой колбасой и запивая газированной водой под названием «Байкал».

«Ага, а сама она не пошла в буфет, потому что худеет», – догадался я, и вдруг шальная мысль мелькнула у меня в голове.

Сейчас я подойду к ней и поздороваюсь:

– Здравствуйте, Мария Иосифовна.

Она, наверное, меня не сразу узнает, а потом удивится, увидев меня на концерте.

– Кумохин, а что это вы здесь делаете? – спросит она.

– То же, что и Вы, Марь Иосифовна, – отвечу я, – слушаю Моцарта. У меня, между прочим, абонемент на все концерты.

– Скажите, пожалуйста, – только и найдет что ответить моя мучительница.

– Мири, а что это за приятный молодой человек рядом с тобой? – спросит изволившая откушать и подошедшая к нам ее подруга.

– А это, Сарочка, мой студент, – ответит та.

– Ну, вот, а ты говорила, что еще ни разу не встречала среди своих студентов, кто бы любил Моцарта.

– Скажите, пожалуйста, молодой человек, вы любите Моцарта? – спросит подруга.

– Он его обожает, – ответит за меня моя неожиданная наставница, – у него абонент на все концерты, так же, как и у нас.

Что будет дальше, я еще не придумал, но уже твердо знал, что с этого вечера перейду в разряд ее любимчиков.

И буду так же, как и Швырев, твердо смотреть в будущее всех своих экзаменов по математическому анализу.

А, может быть, мы даже поменяемся с ним местами.

Я уже сделал какую-то попытку приблизиться к моей преподавательнице, но вдруг услышал, что скрипка в моем сознании внезапно умолкла, причем оборвалась на неожиданно грубой и фальшивой ноте.

Я остановился, сбитый с толку этой наступившей тишиной, и некоторое время стоял в раздумье, прислушиваясь к своему внутреннему голосу.

А в это время к Марь Иосифовне подошла ее подруга, и

они неспешно удалились, о чем-то мило беседуя.

Второе отделение прошло так же, как и первое, и музыка была прекрасной.

Я оделся одним из последних, чтобы не привлекать ничего внимания и вышел на запорошенную легким снежком улицу, где стоял памятник с вдохновенным Чайковским, и я еще долго бродил в одиночестве по зимней столице, а в душе у меня, по-прежнему, не переставая, звучала скрипка.

# Наташа

В начале лета уже на втором году обучения в институте я неожиданно встретил Наташу Глазкину возле своего общежития. После сессии в пединституте в Омске, она, по ее словам, заехала в Москву с единственной целью отыскать дальнюю родственницу, живущую где-то в районе Северянина.

Наташа похорошела с того времени, когда я видел ее в школе, и симпатично выглядела в своем легком летнем платье. Мы весело болтали, она об учебе, а я об очередном своем увлечении живописью импрессионистов.

Платформа Северянин была расположена по нашей ветке пригородных электричек. Этот район еще не входил тогда в территорию Москвы, но уже начинал интенсивно застраиваться. Разумеется, я вызвался помочь бывшей однокласснице в ее поисках.

После долгих блужданий по на редкость бестолковым улочкам поселка, с домами двойниками, то есть имеющими одинаковый адрес, мы отыскивали Наташину родственницу, оказавшуюся полуслепой старушкой, живущей в ветхом домишке, предназначенном на снос. Засвидетельствовав горячую встречу родственников, я поспешил распрощаться, но уже на следующий день опять встретился с Наташей. На этот раз она попросила меня встретиться вместе с ней в Москве рассвет, что было, как она сказала, ее давней мечтой.

И я опять согласился, хоть плохо представлял, что можно делать в столице в это время. Встретившись под вечер, а ночь в июне, как известно, в средней полосе продолжается всего семь часов, мы долго-долго бродили по центру, вблизи Кремля, вдоль Москвы реки, пока, заметно устав, не оказались на лавочке у деревянной пристани, почти напротив теперешнего Храма Христа Спасителя.

Она рассказывала, что ее роман с Сергеем Бахусевым завершился ничем. В первый год в институт она не поступила и оставалась дома, в Светловодске. Уезжая в Харьков в свой физтех, Сергей якобы поручил ее своему другу Саше Горбаченко, наделив его самыми широкими полномочиями. О чем тот и не преминул заявить, когда попытался ее поцеловать. Она дала тому по физиономии и разорвала отношения с Сергеем.

Мне эта история показалась знакомой по одному из бесчисленных романов, которые я проглотил еще в школьные годы, но я терпеливо слушал и время от времени сочувствующе поддакивал. Бедняжка изрядно замерзла в своем лёгоньком платьице, я накинул на нее свой пиджак и обнял за плечи. Так мы сидели, молча, прижавшись друг к другу, глядя на уже бледнеющее в предутреннем воздухе небо.

– Поцелуй меня! – услышал я вдруг.

– Что? – переспросил я.

– Ну, поцелуй же меня, наконец!

Потом она со смехом вспоминала, какое глуповато – удив-

ленное выражение было у меня в этот момент. Нас вспугнули какой-то бомж, которые и тогда водились в столице в достаточном количестве.

Скоро Глазкина уехала, оставив меня в глубоком раздумье по поводу новой для меня ситуации. Что касается Сергея Бахусева, то отношение к нему четко определила сама Наташа. А вот как быть с Колей Семиным, ее вторым школьным рыцарем? Так ничего и не придумав, я приехал на летние каникулы и на первой же встрече с бывшими одноклассниками столкнулся с разъяренным Семиным, который уже обо всем был прекрасно проинформирован, возможно, самой же Глазкиной.

– Как же так, – возбужденно восклицал он, – а как же дружба и мужская солидарность?

Я, действительно, оказался в дурацком положении. С одной стороны, факт предательства, вроде бы, был налицо. С другой стороны, ведь не мог же я, в самом деле, оправдываться тем, что она сама меня просила поцеловать?

Бывают такие минуты, когда решение трудного вопроса мне удается сначала выразить словами, а потом уже понять самому. И вот, что у меня получилось.

– Послушай, Коля, – говорил я, – я тебе не соперник и никогда им не был. В жизни у тебя один соперник – Сергей. Взгляни на ситуацию по-другому. Сейчас Наташка не с Сергеем, и это для тебя уже хорошо. Поверь, та ситуация, в которой мы оказались, она временная. Я, так же, как и ты, люблю

другую девушку, люблю безответно, больше того, она даже не знает об этом, и никто больше не знает. Вот, теперь только ты. Подожди совсем немного, и все изменится в лучшую для тебя сторону. Надолго или нет, но скоро Наташа будет с тобой.

Не знаю, что на меня нашло, но я впервые открылся в своих чувствах перед посторонним человеком, пусть и своим другом. Коля, поверив моим словам, ушел успокоенный. А я остался со своими невеселыми размышлениями, как же мне быть дальше. Отказаться от свиданий я не мог, пока не мог. И обидеть ее доверие, тоже не мог.

Скоро я уехал в свое Подмосковье, отбывать летнюю трудовую повинность, и в следующий раз мы встретились с моей бывшей одноклассницей только в зимние каникулы. Вечеринка была у нее дома, в числе нескольких человек пришел и Сергей Бахусев. У него был вид побитой собаки. Я ощущал себя немногим лучше. Наташа, видимо, начиная понимать, что сморозила большую глупость, вела себя крайне нервозно, капризничала, и, вконец разойдясь, оставила гостей и ушла из дому. Сергей бросился за ней следом.

– Пойдем? – предложил он мне.

– Нет, с меня довольно, – в сердцах бросил я.

Каникулы окончились, и мы разъехались по разным городам. В тот год в нашем общежитии ребята частенько под гитару заводили песенку:

«Наташка, Наташка чужая жена...».



А у меня сердце переворачивалось от этих слов. Одно дело предсказать, как все произойдет, но совсем другое – сделать это своими руками. Переписка с ней разладилась, я умышленно не ответил на два письма, а потом пришло третье письмо, в котором мне гневно провозглашалась полная отставка.

Я пробовал анализировать свои чувства, но понял, что не ощущаю ничего, или почти ничего. Вот только стишок нечаянно выскочил, да и то какой-то странный, с аллюзиями из картин раннего Нестерова.

На самом деле здесь не было никакой мистики. Просто случайно брошенный камешек на замерзающем пруду внезапно отозвался целой какофонией звуков.

Это кончилось. Снова один.  
Белых мошек толпящийся рой.  
Небо в сумерках пахнет зимой -  
Бесконечная, серая стынь.  
А на озере зеркалом лед.  
Пустоты неразменный двойник.  
Кинешь камнем -  
И в свист, и в крик.  
Это словно хрусталь об пол,  
Чтоб на сотни осколков, вдрызг,  
Или о стену головой,  
Если стала постылой жизнь.

Это словно «Великий постриг»,  
И березки-монашенки в ряд.  
Это кончилось, стало зимой.  
Отодвинулось вовсе назад.

На следующее лето мы снова встретились, на этот раз на пикнике в плавнях возле прекрасного и давно знакомого мне круглого озера. На этот раз Глазкина была с Семиным. Мое предсказание, как видно, полностью подтвердилось.

Наташа выглядела шикарно в черном закрытом купальнике и вела себя соответствующим образом. С царственной небрежностью она давала Коле какие-то указания, а он с жаром бросался их исполнять. Своего негодования по отношению ко мне она не скрывала. В ответ на какое-то мое замечание, она только плечиком повела и приказала Коле:

– Фас!

Семин не шутя бросился на меня и опрокинул на землю.

«Ну, вот, делай после этого людям добро» – подумал я, а вслух воскликнул:

– Коля! Из-за бабы?

Мои слова подействовали на него как ушат холодной воды. Он моментально слез с меня и начал бормотать какие-то извинения.

С Глазкиной в то лето я предпочел больше не встречаться, а с Колей виделся довольно часто. Как-то раз, загорая возле камней на море, я обратил внимание, что он почему-то не

снимает рубашку.

– Ты, что, обгорел? – спросил я, он смутился.

Я приподнял уголок рубахи и все понял: вся грудь у него была в кровоподтеках, как будто его безжалостно пытали. На мой вопрос, откуда вся эта прелесть он глуповато улыбнулся.

– Наташенька!

О всякого рода «садомазохизме» я тогда еще и слыхом не слыхивал, поэтому искренне посоветовал другу отшлепать Наташеньку по филейным частям, что бы впредь nepовадно было.

И снова мы не виделись полгода. На следующие зимние каникулы я приехал окрыленный. Я дал себе зарок, что впредь больше не буду приезжать в этот город один. Опять была тусовка у Глазкиных. Наташа была какая-то очень домашняя и умиротворенная. На меня она больше зла не держала. Как всегда, все обо мне все знали, даже то, чего вовсе и не было.

– Ты влюбился? – спросила она.

Я сказал, что, действительно, влюбился.

– А она красивая?

– Очень, – ответил я.

А потом она снова, как несколько лет назад, начала рассказывать свою новую историю, опять очень похожую на страшно знакомый роман. О том, как после своего перевода из Омска в Кировоград, на месячной практике в колхозе, она отчаянно влюбилась в писаного красавца однокурсника,

сынка высокопоставленных родителей, и жила с ним, а после возвращения в город он перестал ее замечать.

И опять мне было жаль ее. На вопрос, что она будет делать дальше, Наташа ответила, что, вероятно, теперь выйдет замуж за Сергея Бахусева.

# Алексеев

В стране, судя по всему, все еще продолжалась «оттепель».

Я говорю не о климатических условиях, а об оттепели в головах советских людей различных возрастов и рангов.

Одна за одной выходили книги, о существовании которых многие раньше даже и не подозревали.

Так, я прочел в Ленинке не только «Мастера и Маргариту», но и «Записки юного врача» Булгакова, и «Конную армию» Бабеля. А из поэзии – Незвала, Тувима, Неруду, и, разумеется, наших: Пастернака, Ахматову, Цветаеву.

Я буквально роскошествовал, рассматривая прекрасно изданные книги на итальянском или французском языках с цветными иллюстрациями живописных полотен.

Но первым делом, приходя в Ленинку, я заказывал литературу по философии. И я сделал для себя немало открытий.

Оказалось, что Карл Маркс далеко не всегда был тем бородатым сердитым классиком, которого мы привыкли видеть на его портретах. В молодости он глубоко занимался философией, изучал классическую немецкую философию, критиковал метафизический материализм, увлекался младогегельянскими идеями.

Некоторые его работы не вполне укладывались в прокрустово ложе отечественных теоретиков марксизма, поэтому

их попросту не включали в собрания сочинений, которые выходили в Советском Союзе многомиллионными тиражами.

И только в 1956 году в нашей стране была издана книга «Из ранних произведений», в которой впервые были напечатаны «Экономико-философские рукописи 1844 года». В этих рукописях классик предстал романтическим молодым человеком, размышляющим о гуманизме и свободном развитии личности.

Кроме того, обнаружилась, по крайней мере, одна лакуна, которую не успели описать наши классики.

Такой «terra incognita» оказалась эстетика.

Если раньше у нас в стране почти за двадцать лет не было издано ни одной работы на эту тему, а тут будто прорвало. Все хотели высказаться об эстетике, даже те, кто по роду своих занятий более склонны были писать доносы на своих коллег, а не статьи в толстые журналы.

Весьма актуальным был вопрос: существовало ли прекрасное (читай, эстетическое) в природе до появления человека.

Благо, у классиков марксизма-ленинизма на эту тему ничего не было сказано. Умами моих современников, особенно из числа студентов прочно завладели передовые умы из числа «шестидесятников».

Конечно, мы и не подозревали тогда, что существует такая особая категория людей.

Но оказалось, что мне и моим однокурсникам повезло, и я был знаком с одним из таких людей.

В начале второго курса у нас ввели факультативный предмет по эстетическому воспитанию, то есть, курс не обязательный для посещения, но на который скоро в аудитории уже перестало хватать мест.

Кроме лекций по эстетике, на которые валом валили все девчонки из нашего общежития, подобный ажиотаж вызывали разве только концерты Высоцкого, пару раз выступавшего в нашем институте.

Поскольку я уже достаточно хорошо знал, что представляют собой институтские курсы гуманитарных наук, я не сразу заявился на лекцию по эстетике. Аудитория, которая по совместительству служила в дни вечеров и танцевальным залом, была переполнена. Мне досталось место в самом конце зала, за колонной, так что я с трудом мог видеть лектора.

Преподавателя звали Алексеев Семен Павлович. Это был человек лет под шестьдесят, среднего роста, коренастый. У него был могучий лоб мыслителя и каштановые, еще не седые волосы, зачесанные назад невысокой волной.

Тогда, во времена официального атеизма, я сравнивал его про себя с библейским богом, или, по крайней мере с одним из его пророков.

Я обратил внимание, как хорошо выглядит его яркий, со вкусом подобранный галстук в сочетании с темным костюмом и белоснежной рубашкой. Он говорил очень спокой-

но, негромким, высоковатым голосом, тщательно обдумывая формулировки.

По мере того, как он говорил, предубеждение, с которым я пришел на эту лекцию, незаметно рассеялось, я слушал философа со все возрастающим интересом. Как будто ничего особенного он и не произносил, но эти простые, казалось бы, слова звучали разительным диссонансом, к той абракадабре, которой пичкали нас на других лекциях по так называемым общественным наукам.

После лекции, я нарушил свое не писаное правило никогда не высовываться и подошел к преподавателю с первым пришедшим на ум вопросом.

– Скажите, – спросил я, – Вы остановились на искусстве Византии, как на примере расцвета народного духа и его энергии, так, кажется, я понял?

Он кивнул головой и посмотрел на меня внимательно и как будто заинтересованно.

– А между тем, в большинстве книг, которые я прочел, в качестве основной причины развития искусства указывается на классовый состав Византийского общества. Нет ли здесь противоречия с Вашими словами?

– Видите ли, – ответил тот, немного помедлив, – наше искусствоведение все еще не может расстаться с вульгарно-социологическим толкованием законов искусства. В таких работах все выводится из борьбы классов, а между тем, дело обстоит гораздо сложнее. И расцвет искусства, так же,



как его упадок, нельзя объяснить просто государственным устройством. Это, конечно, вульгаризация идей Энгельса.

– Да, – подхватил эту мысль я, не зная еще, что такая манера ведения разговора вскоре станет обычной для нас, – многие, казалось бы, прогрессивные государства ничего не дали для искусства, а, напротив, реакционные, характеризовались его расцветом. Например, в России первой половины девятнадцатого века, с ее самодержавием и крепостным правом возникло то, что мы называем русской литературой, музыкой, живописью....

– Вот, вот, здесь важна не борьба классов, а состояние народного духа, – сказал, усмехнувшись, философ.

И добавил:

– А Вы, я вижу, интересуетесь этими вопросами. У нас на кафедре организовано студенческое социологическое общество. Приходите на следующее занятие. Вам будет интересно.

Полдень, сентябрь, бабье лето.

Крохотные паучки, оперенные серебристыми нитями, парят в теплом воздухе. Сладко пахнет нагретыми на солнце яблоками, которых много еще в темной зелени дачных садов.

По асфальтированной дорожке тихого дачного поселка идут двое: я и Алексеев. Я еще не привык к замедленной походке философа и мне приходится, то и дело, сбиваясь, делать то большие, то совсем маленькие шаги. Листья тополей на платформе покрыты ободками копоты, как ногти маши-

ниста. До электрички оставалось полчаса.

– Значит, договорились? – говорит Алексеев.

– Ты читаешь литературу, посвященную этому вопросу. Список я могу тебе дать или ты сам легко восстановишь его по каталогу. Внимательно читаешь и просматриваешь ее с точки зрения пригодности для нашей позиции. Ведь ты согласен с тем, что это наша позиция? – он сделал ударение на слове наша.

– Конечно, конечно, – согласно закивал я.

– Заранее могу сказать, что в чистом виде там не окажется ничего. Но присмотришься повнимательней. Споря друг с другом, авторы обнажают слабости позиции противоположной стороны. И, прочитав то, что пишут и те, и другие, мы получаем против них убедительные аргументы. Но это только один вопрос. Важный, необходимый, но составляющий только часть проблемы. Другая часть – определяющая, состоит в продуктивном развитии проблемы. Сейчас еще рано говорить о создании концепции эстетического в целом. Возможно, это предстоит сделать именно тебе. Но какие-то основные положения уже можно наметить. Во-первых, прояснить, что же такое эстетическое. Одни ученые, «природники», говорят, что это качества вещей. Другие, так называемые «общественники», утверждают, что это свойства. А мы считаем....

– Мы считаем, что эстетическое есть отношение – поспешил вставить я.

– Да, именно отношения, – довольно кивнул Алексеев, – что предполагает ответ на вопрос, как следует понимать эти отношения. Являются ли они раз и навсегда для данной общественной системы фиксированными, либо находятся в движении, развиваются.

Но тогда возникает вопрос, каким же образом они развиваются. Можно предположить, что важную роль играет здесь личность ученого, художника, изобретателя, одним словом – личность творца. Тебя, я вижу, интересуют эти вопросы?

– Да, очень, – ответил я, чувствуя, что у меня даже в горле пересохло от волнения.

– Мне кажется, интерес у тебя устойчивый, ты достаточно начитан, легко схватываешь суть проблемы, и, я надеюсь, в будущем из тебя мог бы получиться неплохой философ. Конечно, для этого нужно окончить институт, потом аспирантуру, защититься, поработать еще лет пятнадцать-двадцать. Ну, а потом ты сможешь себе сказать, что немного знаешь об этой науке. Но кое-что я могу предложить тебе уже сейчас. Ты знаешь, что решением нашей кафедры Володя Мысливченко рекомендован в философскую аспирантуру. Думаю, что в дальнейшем ты тоже сможешь на нее рассчитывать.

Я чувствовал себя настоящим именинником.

Не в силах даже поблагодарить, я бормотал что-то о книгах, которые я собираюсь в ближайшее время прочесть и о том, что мне все легче становится разбираться в философских премудростях.

Проводив электричку, которая увозила Алексеева, я опрометью бросился в парк. Мне казалось, что как никогда прежде, я был близок к осуществлению своей мечты.

Алексеев научил меня по-настоящему разбираться в философской литературе и, что еще важнее, стараться самостоятельно мыслить. Раньше у меня была только субъективная оценка: нравится – не нравится. Интересно – скучно. Мне просто было не с кем обмениваться даже впечатлениями от прочитанного, не то что дискутировать по поводу его анализа. Но скоро я научился выделять в каждой работе основные мысли. Как правило – их очень немного. Мне начало доставлять удовольствие проследить логику доказательств автора, ловить его на явных или неявных подтасовках.

– Плагиат может быть трех видов, – любил повторять Аникеев, – плагиат буквальный, это несерьезно, плагиат по форме, и плагиат по содержанию. Учись мыслить самостоятельно.

В это время для меня основная трудность было в том, чтобы научиться грамотно, в философских терминах излагать свои мысли.

– Ты меня извини, но это прочесть невозможно, – говорил Алексеев, положив руку мне на плечо, и возвращая мне очередную тетрадку, исписанную моим ужасным почерком, – ты гораздо лучше выражаешь свои мысли в разговоре.

Я и сам замечал, что для того, чтобы понять важную проблему, мне нужно было обязательно обсудить ее с собеседни-

ком. И, странное дело, решение этой проблемы иногда приходило так неожиданно, что я не уставал удивляться: только что было неясно, и вдруг произнес, и чувствуешь – а ведь правильно все, и так легко на душе становится, будто путы невидимые с себя скинул.

Через год социологический кружок распался.

Мысливченко служил в армии. Для того чтобы иметь больше времени для бесед с Алексеевым, я стал приезжать к нему домой. Я приезжал заранее и долго бродил по старинному парку музея-усадьбы «Абрамцево». Собирался с мыслями, настраивался на то состояние, при котором думается лучше всего – ясное и радостное. Осенью эти места все еще были очень похожи на картины художника Нестерова, которого я очень любил.

Алексеев жил недалеко от станции в небольшой квартире панельного пятиэтажного дома, и обстановка в квартире у него была довольно обыкновенная.

Его жена была совершенно не похожа на своего благообразного мужа, высокая, худая, она, видимо, была не очень довольна манерой мужа приваживать к себе нищих студентов.

У Алексеева было три сына. Двое, математики, давно уже кандидаты наук, жили отдельно, и я их никогда не видел. Младший был почти моим ровесником. Обычно, когда я приезжал к отцу, он открывал двери, заросший рыжеватой трехдневной щетиной, небрежно кивал и уходил в свою ком-

нату, шлепая стоптанными тапочками.

Я знал, что он окончил философский факультет МГУ, владел несколькими языками, написал реферат о Сантяне, поступал в аспирантуру, но не прошел по конкурсу. Рассказывая эту историю, Алексеев намекал на вмешательство «сверху», и добавлял, что до следующего года сын устроился преподавать в местном художественном училище.

Алексеев принимал в своем кабинете в коричневом бархатном халате с кистями (летом халат заменяла просторная пижама).

Иногда я заставлял включенную радиолу, негромко играла классическая музыка. В таком случае мы молча рассаживались по своим местам и дожидались окончания пластинки.

Однажды Алексеев сказал:

– Для того чтобы научиться понимать поздние произведения Бетховена, нужно слушать их снова и снова. Сейчас я начинаю чувствовать их своеобразный ритм. Наверное, тоже самое нужно делать и с модернистской музыкой.

Разговаривать с Алексеевым было трудно. Казалось, он угадывал ход моих мыслей едва ли не на полпути. Он знал очень много, но не подавлял, а подталкивал вперед, за собой.

Беседа начиналась неспешно: в эти часы Семен Павлович отдыхал. Рабочий день его начинался в пять утра, и продолжался продуктивно до десяти-одиннадцати часов.

– Остальное время, – говорил Алексеев, прихлопывая ладонью по столу, – не для работы: я отдыхаю, провожу заня-

тия в институте и все прочее.

Я понимал, что под работой Алексеев понимал «генерирование новых идей».

– Ну, что нового ты успел прочесть за это время? – спрашивал он.

Я начинал докладывать: четко, сжато, стараясь сформулировать свои мысли как можно точнее.

Затем начинал говорить Алексеев. Если подходить строго, то он говорил всегда об одном и том же: эстетическое – творчество. Затем, когда центр его интересов несколько сместился, это были: личность – творческое – эстетическое.

Я слушал и удивлялся: как ново, свежо и интересно выглядит у Алексеева та или иная мысль, пусть даже встреченная мною в какой-нибудь книге.

Новое было в том, что объединяло эту и другие мысли, то, что Алексеев великодушно называл «наша точка зрения», отчего у меня загорались глаза и начинало стучать сердце – это была и моя точка зрения, единственная, верная, это предстояло доказать именно мне.

Мы практически никогда не разговаривали о делах житейских, зато то, что он открывал в научном плане, было для меня поистине бесценно.

– Эстетическое отношение возникает у человека в процессе творчества потому, что именно творчество является основной сущностной силой человека.

О, такая позиция мне, безусловно, подходила. Мне с юно-

сти одержимому вопросам самоутверждения и самосовершенствования.



## Летняя практика

В моду входили социологические исследования, и я договорился, что приеду во время летних каникул обшчитывать анкеты какого-то простенького опроса, который мы проводили с благословения Алексеева среди студентов нашего института. Эту работу на кафедре философии мне обещали зачесть за обязательную трудовую практику. Я вернулся в общежитие в июле, когда все студенты уже разъехались, а абитуриенты еще не появились. Вместе с молоденькой очень застенчивой, то и дело заливающейся от смущения багровым румянцем ассистенткой с кафедры научного коммунизма мы, что называется врукопашную, обшчитывали анкеты. После обеда работа, как правило, заканчивалась, и я был предоставлен самому себе.

Это был удивительный июль, впервые проведенный мною полностью в Москве. Он был на редкость дождливый. Дождливый, но теплый. Зонта, разумеется, у меня тогда не было, поэтому я старался двигаться перебежками, в коротких перерывах между то и дело бушевавшими почти тропическими ливнями. Вероятно, я оставался совершенно один в большом пятиэтажном здании общежития, обычно наполненном гамом и суетой сотен молодых людей. Теперь в нем царил тишина и от старого, давно растрескивавшегося паркета пахло мастикой и пылью.

Студенческая столовая тоже не работала, поэтому я питался у себя, в основном бутербродами, заваривал кофе почешски, как научила меня моя неродная московская бабушка, заливая в кружку с парой ложек молотого кофе крутой кипяток. Этот запах кофе и смешанной с пылью мастики, да еще размокших от постоянной сырости мокрых листьев старых лип и вылезающих сквозь трещины в старом асфальте бесчисленных дождевых червей – выползков – этот запах останется у меня на всю жизнь.

И еще одним событием запомнился мне этот июль. В Музее искусства народов Востока, который располагался тогда на улице Обуха, открылась выставка гравюр японского мастера 18 – 19 столетий Хokusай.

Выставка буквально заорожила меня изяществом форм и неповторимым колоритом далекой страны. Узнаваемые и в тоже время каждый раз иные виды вулкана – горы Фудзи, чудесные марины, и россыпи ирисов, удивительным образом, перекликающихся с ирисами Ван-Гога, жившего полвека спустя за много тысяч верст в далекой Франции. То яркие и многоцветные, то монохромные – эти гравюры произвели на меня такое впечатление, что я еще несколько раз приезжал сюда и часами любовался драгоценными произведениями искусства.

Вечером в общежитии я читал взятый в институтской библиотеке первый том «Философской энциклопедии» и томик А. Блока из 200 томного издания «Библиотеки Всемир-

ной Литературы».

В Ленинке я взахлеб зачитывался «Дневниками» Ван-Гога и даже подумывал написать поэму о последнем периоде его творчества, но ничего, кроме нескольких строк, в которых за версту чувствуется подражание позднему Пастернаку, не написал.

Южные весны роскошно неистовы,  
Мутной водой подавился февраль.  
В мокрых деревьях разбойничьим свистом  
Кожу саднит мистраль.

# Последние курсы

Между тем, оттепель, судя по некоторым признакам, заканчивалась.

Однажды, будучи уже студентом-старшекурсником, я присутствовал на одном из заседаний кафедры философии, куда пригласил меня Семен Павлович. Речь шла, кажется, о методике преподавания философии марксизма (опять же, кажется, в связи с публикацией ранних произведений Карла Маркса). На Алексеева с пеной у рта нападали некоторые из старичков, обвиняя его в ревизионизме идей партии.

В заключение дискуссии слово взял Семен Павлович и очень аккуратно, как мне показалось, припечатал всех своих оппонентов. Он говорил очень спокойно, как всегда продуманно и логично. Но после него никто уже больше не захотел выступать, и философы разошлись по домам.

Я провожал Аникеева до электрички.

– Понимаешь, – сказал он еще медленнее, чем обычно, – возможно, я перейду на работу в другой институт. Мой друг давно меня зовет на свою кафедру, где совсем другая обстановка, чем в нашем гадюшнике. Там тоже есть аспирантура, поэтому мое обязательство по твоему приему в аспирантуру на кафедру философии остается в силе. Только это будет уже в другом институте.

В общежитие я, как всегда после разговора с Алексеевым,

возвращался в приподнятом настроении.

Скоро я узнал, что мне все-таки предстояло работать по инженерной специальности.

Все решилось просто и без всякого моего участия. Сначала ушел из института Алексеев. Позже он рассказывал, как все получилось. Семен Павлович был членом парткома института. Однажды он сделал на одном из заседаний доклад об уровне преподавания на кафедре философии. Как выяснилось, философию преподавали историки, филологи и даже один юрист. Доклад приобрел большой резонанс. Кого-то уволили. Кто-то отделался выговором.

– Но, сам понимаешь, атмосфера на кафедре сложилась после этого неподходящая. Я предпочел уйти. Да я и не держался за это место. Очень нужно!

Тем не менее, больше года Алексеев нигде не работал, и, хотя я, по-прежнему, приезжал к нему домой, я не мог не заметить, что симпатия Алексеева ко мне сильно охладела. Правда, Семен Павлович, так сказать, завещал руководство мною одному из преподавателей кафедры, с которым у него сохранились хорошие отношения – Шепшевичу.

Шепшевич был рыж, как таракан, конопат и неизменно добродушен. Он преподавал философию на нашем факультете, но в нашей группе зачеты и экзамены не принимал. Поэтому я знал о нем только по рассказам знакомых ребят по общежитию. Шепшевич был большой любитель пить чай с баранками. Принесет с собой электрический чайник и вязку

баранок:

– Здравствуйте, – скажет, – чаю не хотите? Так, так. Значит, как ваша фамилия? Иванов? А отец кем работает? А мать? Братья и сестры есть? Превосходно! Фить-а-а!

А потом: «хрусть, хрусть» баранками.

– Неужели по билету ничего не спрашивает? – изумлялся я.

– Чаше ничего. Только спросит:

– Четверки достаточно?

И «хрусть-хрусть».

– Здравствуй, – сказал Шепшевич, когда я пришел к нему в первый раз, – как, говоришь, фамилия? Кумохин? Прекрасно! Отец кем работает? А мать? Так, так.

Шепшевич потирал довольно руки, а я явственно слышал хруст баранок.

Я принес ему реферат о проблеме эстетического, которая была модной в то время. Шепшевич взял тетрадку похожей на клешню ручищей и уволок на неделю домой.

Похвалил работу сдержанно:

– Только зря ты на Асанова нападаешь. Какой он метафизик? Я его отлично знаю. Очень представительный, только хромает. А эрудит! Прекрасный человек.

Я хотел ему возразить, что «метафизика» приклеил ему не я, а другой оппонент, и что в реферате речь идет о принципах, а не о личных симпатиях, но промолчал.

На институтской конференции я получил первую премию,

но о том, чтобы дать направление в целевую аспирантуру заведующий кафедрой и слушать не хотел:

– Одному дали, а он ушел в армию, – ворчал заведующий, имея в виду Мысливченко, – тебе дашь – ты тоже уйдешь. Нет уж. Поработай чуток. Только на пользу пойдет.

Одним словом, получилось именно так, как и предупреждал Алексеев.

Но попытаться все-таки стоило.

С Алексеевым мы тоже уже давно не виделись. Как-то раз, когда стала одолевать беспричинная тоска, я написал ему открытку и через несколько дней отправился, как обычно, на встречу.

– Семена Павловича нет дома! – зло отрубилa жена, – и, вообще, он не принимает!

Я отчетливо слышал за дверью чьи-то шаги и поэтому сделал робкую попытку протиснуться в квартиру.

– Дайте же вы, наконец, человеку отдохнуть. Сказано – не принимает, – и она с силой захлопнула дверь.

– Ну, за что же? За что? – думал я с обидой, возвращаясь в общежитие, – может быть, его, действительно не было дома? Но ведь были же шаги, ведь были...

Скоро в институте у нас началось предварительное распределение.

# Случайное знакомство

Вагон был старый и запущенный, двери в туалеты не запирались по причине отсутствия на них замков, вагонные стекла были в многослойных подтеках грязи и пыли, сквозь которые пейзаж за окном казался написанным неряшливым художником-пуантилистом.

А там, за окном стояло щедрое украинское лето. Висели в садах яблоки и груши, огороды обильно краснели помидорами и серели похожими на уснувших поросят тыквами.

Как-то непроизвольно появилось воспоминание, которое заметно портило картину уходящего лета. Очередные каникулы заканчивались, а мне еще предстояло решить важный, как мне казалось, вопрос.

Я отважился позвонить только за день до отъезда.

– Ты еще не забыл номер моего телефона?

Разве я мог его забыть?

– Я хочу встретиться с тобой.

– Зачем? – спросили на том конце провода.

– Могу же я хоть раз в год видеть тебя!

– Ну, хорошо.

Действительно, зачем нужна была эта встреча?

Девочка, которая поразила меня когда-то почти ангельской красотой, стала еще красивее, но ее взросление ни на йоту не сделало нас ближе.



Шли рядом чужие, взрослые люди, разговаривали ни о чем. На этот раз ей даже скучно со мной не было. Я уже научился, если сильно хотел, быть интересным собеседником.

Но, замедляя шаг, я с неожиданным равнодушием подумал, что совсем не о такой встрече я мечтал.

Расставаясь, робко попытался договориться о следующей встрече.

– Зачем? – со спокойной улыбкой ответила девушка, – ты обещал, что только один раз.

Я не нашел что ответить, только потом еще долго до боли стискивал зубы.

Теперь я понял, что все это придумал: и любовь, и девушку.

На самом деле мне больше всего хотелось человеческого тепла и понимания.

Но откуда ему было взяться, если я все больше привыкал жить в скорлупе своих интересов и иллюзий. И чем дальше это продолжалось, тем меньше у меня было шансов из этой скорлупы освободиться.

– Ничего не было, – говорил я себе, – да ничего мне и не нужно.

Я представлял себе знакомый полумрак читального зала Ленинки, шорох переворачиваемых страниц и запах книг, и то особое удовлетворение, которое испытываешь после окончания работы над особо сложным произведением.

Теперь я буду спокойным и мудрым, и буду смотреть на

окружающий мир с доброй улыбкой:

– Я все понимаю, я всех вас люблю и ничего не требую взамен.

Постепенно досадные воспоминания сменились тем радостно-сосредоточенным настроением, при котором так хорошо думалось.

Я углубился в книгу, одну из тех, которую полагалось проанализировать летом, но я только мельком ее пробежал.

Скоро я не замечал уже стоящей в плацкартном вагоне духоты и только изредка поглядывал в окно, провожая мелькнувшую синей лентой речушку.

Поезд в очередной раз дернулся и остановился, и, как это всегда бывает, привыкшему к равномерному шуму уху, странной показалась внезапно наступившая тишина.

– Опять стоим, что это за станция такая? – спросил за перегородкой приглушенный женский голос.

– Новые Санжары. Это уже от Полтавы совсем близко. Дальше мы поедем немного быстрее.

Кто-то бежал по путям, бестолково переспрашивая на ходу:

– Это какой вагон? Это одиннадцатый вагон?

Коренастая хохлушка проводница грудью прикрывала двери от безбилетников. В тамбуре пыхтели, стучали каблуками, передвигая что-то тяжелое.

Пробежали наперегонки ребятишки, плюхнулись на лавку где-то за перегородкой.

– Чур, я первый место занял!

– Нет, я!

– Ну, вот, – с досадой подумал я, – сейчас заявятся вот такие, и позаниматься спокойно не дадут.

Я уткнулся в книжку:

– Буду читать, кто бы там ни пришел.

Следующие шаги были легкими, и я совсем бы не обратил на них внимания, если бы они не затихли как раз напротив меня.

Тоненькая девушка в синих спортивных брюках и зеленой офицерской рубашке, привстав на цыпочки, пыталась открыть перекошенную раму окна.

Поняла тщетность своих усилий и, прильнув к окну, заговорила торопливо и растерянно:

– Ну, все, Слава, все. Не надо так. Слышишь?

– Пиши мне! – закричали снизу.

– Хорошо, обязательно напишу.

– Плачет, наверное, – подумал я, – хотел бы я знать, какой из себя этот Слава. Со мной ведь никто так не прощался.

Поезд тронулся почти незаметно.

Медленно поплыли назад побеленные стены пакгаузов.

– Слава, все, все! – замахала девушка рукой. – До свидания!

Там, за окном, не отставая, шли следом, а поезд все набирал скорость, и вот совсем уже издали донеслось:

– Целую тебя!

Мне было неловко смотреть на чужую сцену расставания, и я опять уткнулся в книгу.

– Простите, это двадцать пятое место?

Я вздрогнул от неожиданности. Потом засуетился:

– Да, да, пожалуйста, садитесь!

И пересел на другое сиденье.

– Так вот ты какая, – подумал я, – и не плакала ты вовсе, только глаза у тебя грустные-грустные и хорошие.

– Спасибо, – покачала головой девушка, – мне еще за вещами сходить нужно.

– Давайте, я принесу!

Она помедлила секунду:

– Спасибо, они в тамбуре остались.

Я перенес вещи: большой чемодан, хороший, но уже не новый, перетянутый брезентовыми ремнями, и коробки с фруктами.

Затолкал их под сиденье и спросил, переводя дыхание:

– До самой Москвы едете?

– Да, до Москвы. Спасибо вам большое.

– А как же там? Ведь у вас столько вещей.

– Я дала телеграмму. Должен встретить отец.

Мы сидели друг напротив друга. Я уже только делал вид, что внимательно читаю, а на самом деле подглядывал за своей спутницей.

Она сложила руки на колени, расслаблено опустила плечи и, видимо, собиралась так сидеть долго, глядя в окно и думая

о чем-то своем.

У нее было хорошее открытое лицо, загорелое, с чуть заметными веснушками на крыльях прямого носика.

По-настоящему красивыми были глаза: серые, немного раскосые, чуть заметно тронутые тушью, и волосы, русые с совсем светлыми пепельными прядками.

– Как странно, – подумал я, – вот сидит рядом со мной эта милая девушка – незнакомый, чистый и светлый мир – а пройдет ночь, и завтра я выйду из вагона, все так же ничего о ней не зная.

В вагоне сгущались сумерки, и теперь я уже не мог делать вид, что читаю, все равно букв было не разглядеть. Девушка между тем, по-прежнему, безучастно смотрела в окно, и не заметила, как я уходил, а затем вернулся обратно.

– Вы не возражаете? – я положил комплект постельного белья на ее полку.

– Ну, что вы, спасибо, – она, кажется, впервые внимательно на меня посмотрела.

– Увидел, что начали давать постельное белье и решил взять сразу два комплекта. Случается, что белья на всех не хватает, – поспешил я объяснить свой поступок, – хорошо еще, что одеяла нам не понадобятся, а то они, наверное, такие же, как все в этом вагоне.

– Хорошо, что в плацкартный удалось купить билет. Я обычно в купейной вагон беру билет, а тут вообще никаких не было. С трудом отец одного моего знакомого через Пол-

таву купил.

– Это он провожал Вас на станции, – сказал я, и опять почувствовал себя неловко, – а я предпочитаю в плацкартном. У меня сначала билет на другое место был, но там чересчур шумные попутчики оказались, так что я с радостью на это место перебрался.

– А я пришла и нарушила Ваше уединение.

– Ну что Вы... Вы – это совсем другое дело.

Было что-то располагающее и даже уютное в этом полумраке – света в вагоне еще не зажигали – в равномерном покачивании, поскрипывании, постукивании, в долгой тишине на остановках, в теплой неподвижной духоте.

Притихли, видно отправились спать, шумные несостоявшиеся мои соседи.

Входящие пассажиры располагались, вспугивали на несколько минут тишину, а потом замолкали, смущенные этим властным покоем.

– Я, кажется, даже рада, что закончилось это лето, – вполголоса, как будто сама с собой говорила девушка, – не знаю, почему это случилось – мне всегда было весело здесь. А потом вдруг все изменилось. Особенно плохо было в последние дни. Все разъехались, и мы остались с ним вдвоем. Мы были поверхностно знакомы несколько лет, но никогда так тесно. Раньше он казался самоуверенным человеком, а оказалось, что простой, даже робкий ...

– И он влюбился в Вас...

— Дело даже не в этом. Мне было очень грустно в последние дни и особенно на станции. Я теперь поняла – это от того, что я никогда сюда больше не вернусь.

– Ну, зачем же так. Наступят новые каникулы...

– Нет, нет, я решила окончательно. Я больше никогда сюда не приеду...

И я очень ясно, как будто увидел все это сам, представил, как маленькая бойкая девчушка приехала в этот небольшой украинский городок в первый раз. Новые знакомства и друзья «на всю жизнь», и клятвы, и беготня по песчаному пляжу, и ласковый блеск тихой речушки Ворсклы. Потом походы на танцы в соседний санаторий, и первая влюбленность. Проходило лето за летом, их компания взрослела, и шутки и ухаживания были не так безобидны, как раньше.

Стать взрослой – это хорошо. Но это значит: прощай навсегда беспечная легкость юности. Но это значит, что взгляды друзей твоих – обжигают, и это тяжело – ходить под такими взглядами.

Кончилось детство, и сюда не стоило больше приезжать, для того чтобы остались светлыми воспоминания, а друзья – друзьями, не больше.

В наступившей темноте я уже едва различал лицо сидящей напротив девушки.

Мы говорили вполголоса, почти шепотом, потому что только так и можно доверять мысли, которые и для себя открываешь далеко не всегда.

В тот вечер в душном, пыльном и скрипящем вагоне я с каким-то облегчением и даже радостью рассказывал о себе грустной и тихой девушке, с которой познакомился чуть больше часа назад.

Вспыхнул свет, и мы немного смутились, обнаружив, что сидим совсем близко друг к другу по обе стороны стола.

И оба взглянули на книгу, которая лежала на столе совсем позабытая.

– Абраам Моль. «Теория информации и эстетическое восприятие», – прочел я, встретив вопросительный взгляд девушки, – книга переводная, каких еще мало у нас пока, и довольно интересная. Я еще не успел разобраться в ней как следует, но, мне кажется, уловил основную мысль автора. Если произведение искусства, не важно, картина или симфония, доставляют нам эстетическое наслаждение, значит, оно передает нам определенную информацию, которую автор предлагает назвать эстетической.

До сих пор все правильно, а дальше я с ним не согласен. Предлагается измерять эстетическую информацию точно так же, как и любую другую – степень непредсказуемости. Чем больше вероятность угадывания слушателем каждой следующей мелодии, тем меньше информации несет эта музыка. Получается, что музыка Моцарта и Чайковского передает нам минимум информации, а музыка атональная, авангардная – максимум. Мне кажется, измерять наслаждение художественным произведением степенью энтропии



просто неверно.

Девушка молча, кивнула головой:

«Понятно».

И в тот же самый момент смысл сказанного стал ясен и для меня, и я удивился его правильности. Как в сказке Андерсена «Снежная королева» у мальчика Кая из льдинок сложилось слово, так и у меня из разрозненных впечатлений вдруг возникло верное решение. Появились слова. Простые, верные, они не скрывали, а открывали мою суть. Я радовался и удивлялся. Значит, я такой и есть, и ничего не надо выдумывать, и ни к чему не надо тянуться – далекому, недостижимому. Нужно только ценить то, что есть, и быть счастливым.

Да, ведь я, действительно, счастлив, конечно же, счастлив, как только я не замечал этого раньше?

– Сейчас, пока до сессии еще далеко, два-три дня в неделю я провожу в общем зале Ленинки – знаменитом Пашковом Доме. Наверное, я консерватор по натуре, люблю заниматься в одном и том же месте. В двусветном читальном зале есть две антресоли. Я всегда стараюсь занять место в правой. Из библиотеки выхожу поздно, с последними читателями.

Гуляю. Люблю вечернюю Москву. Раньше думал, что никогда к ней не привыкну, а сейчас кажется – знал ее всегда. Обязательно опять куплю абонемент на лекции в Пушкинском музее.

Интересная на этих лекциях аудитория. Молодежи совсем немного, а все больше старушки. Старичков совсем нет. Они

называют лекторов по имени и отчеству, видимо, знакомы с ними не первый год. Уютные такие старушки, иногда я им даже завидую: все у них теперь в жизни спокойно и улажено. Можно ходить, слушать и смотреть все выставки, концерты и лекции, которые только есть в столице.

– А они, наверное, завидуют нам.

– Конечно, завидуют.

Как хорошо, что было теперь светло, и я мог видеть в глазах девушки ее реакцию на свои слова. Она улыбалась мне, она слушала – и это было как крылья за спиной. Я чувствовал себя так, словно сдавал свой самый трудный экзамен в своей жизни очень строгому экзаменатору.

А может быть, не таким уж строгим, а скорее доброжелательным был мой экзаменатор, и то, о чем я рассказывал, было не самым важным, а важнее было что-то другое, что вернее меня самого угадала эта девушка с грустно-улыбчивым взглядом. Как бы то ни было, но с этого мгновенья меня не покидало радостно-приподнятое настроение, какое испытывает человек в ожидании праздника, не понимая еще, что праздник уже наступил.

Было просто удивительно, насколько совпадают наши вкусы и интересы, несмотря на огромное, как мне казалось, различие в социальном положении. Нас интересовали одни и те же художники: ей тоже больше других нравился Пушкинский музей и зал импрессионистов. Одна и та же музыка. Одна и та же поэзия и литература.

И она тоже любила заниматься в Ленинской библиотеке, правда не одна, а с подружкой. И нам казалось, что мы уже давным-давно знакомы и, как хорошие друзья, можем доверять друг другу.

На вокзале в Полтаве я соскочил с подножки и подал девушке руку, а когда она прыгнула, невольно задержал ее ладонь.

– Вы знаете, – сказала она очень серьезно, – мы уже столько рассказали друг другу, а все еще не знакомы.

– Гена.

– Ира, друзья меня зовут Иринкой.

– А можно, я тоже буду Вас Иринкой звать? И можно на «ты»?

– Договорились.

– Тогда побежали к киоску, а то там вон какая очередь выстроилась.

В Полтаве к нам подсели две пожилые женщины. Они поужинали, коротко и шепотом переговариваясь, а потом тихонько улеглись.

Вагон бросало на стыках, в тамбуре, куда мы зашли, было не менее пыльно и душно, но здесь мы снова были одни.

Я стоял рядом с девушкой, смотрел на ее влажные свежие губы – она о чем-то продолжала рассказывать – и у меня начинала сладко кружиться голова.

Входная дверь показалась мне прикрытой не плотно, я потянул ручку на себя, и дверь распахнулась.

Стоя лицом к темноте, я сжал поручни и свесился наружу.

– Тра – та – та, – стучали колеса, упругой теплой волной бил в лицо и сдавливал уши воздух.

Поезд шел по скруглению, он был виден весь, от локомотива до последнего вагона, освещенный, словно елочная гирлянда. Желтые прямоугольники света выхватывали из темноты то косо́й бугор насыпи, то неожиданно близкие кусты. Они налетали и мгновенно оставались позади, для того чтобы возникнуть в следующем пятне света и так же внезапно исчезнуть.

– Тра – та – та, – и близкое эхо в груди наполняло душу ликующей радостью.

– Отпустить руки сейчас, – мелькнула сумасшедшая мысль, – и грохнуться с размаха о сухую землю в жесткой поросли полыни, превратиться в ничто, в пыль – совсем не жалко сейчас!

– Гена, сорвешься! – девушка с неожиданной силой схватила меня за плечо и потянула вовнутрь.

Наверное, это продолжалось одно мгновение – ощущение полета и мысль о смерти – но я смотрел на испуганную девушку так, как будто не видел ее очень давно.

Милая растрепанная головка, серые глаза – наверное, так встречают любимые...

Любимые? Но разве эта забота и радость мне?

Мы случайно встретились, случайно разговорились, и, расставшись завтра, наверное, никогда больше не увидимся.

– Гена, разве так можно? А если бы что случилось?

– Ну, что ты, со мной ничего не может сейчас случиться!

Пожалуй, слишком самоуверенный ответ.

Но ведь я, действительно, так чувствовал: ничего не может случиться, пока смотрят вот так ее глаза.

Все будет удивительно и прекрасно.

Нужно только не думать, что нам осталась одна ночь.

Мы молчали – все равно за шумом трудно было что-нибудь разобрать.

И, может быть, ничего в жизни не будет лучше этой душевной ночи, стука колес и твоих прекрасных, неожиданно родных глаз.

Поезд замедлил ход. Я едва успел захлопнуть дверь, как вошла проводница. Она подозрительно на нас посмотрела, но ничего не сказала. Затем открыла дверь, и, высунувшись, помахала флажком.

– Смотрит, как будто, мы у нее бачок от унитаза стащить собираемся, – сострил я, когда проводница спрыгнула на землю.

И мы весело рассмеялись.

Начинались пригороды Харькова, огней стало больше, и открывать дверь на ходу я уже не решался. В Харькове мы вышли и, прогуливаясь, бродили по перрону.

То в одну, то в другую сторону убегали от нас две тени – большая, угловатая, и тоненькая, девичья.

– Ну вот, теперь я буду рассказывать, что познакомился

с девушкой с сиреневыми волосами, – сказал я, глядя, как вспыхивают в прядях ее волос отблески неоновых фонарей.

Иринка улыбнулась и молча притронулась к моей руке.

В вагоне мы оба совершенно внезапно почувствовали, что устали.

Я взобрался на свою полку, подождал, пока стихнет шумом внизу, свесился и спросил первое, что пришло в голову, просто потому, что хотел еще раз услышать ее голос:

– Иринка, ты спишь?

– Да, – ответила она ночным голосом, не поднимая головы, – до завтра.

– До завтра, – обрадовано прошептал я.

– До завтра, – подхватили вагоны, – до завтра, до завтра!

Я проснулся, как обычно в поездках, очень рано – весь вагон еще спал.

Спали, убаюканные монотонным стуком колес пассажиры, спала, свернувшись, клубочком, Иринка.

Я осторожно спустился с верхней полки и вышел в тамбур. Здесь я сделал короткую зарядку, потом умылся, растерся домашним полотенцем и, чувствуя себя чистым и бодрым, вернулся на свое место.

Здесь было душновато, несмотря на то, что сквозь неплотно прикрытые окна врвался свежий воздух, который в конце августа уже никогда не бывает в средней полосе знойным.

Я аккуратно поправил сбившийся под девушкой матрас и присел на самый краешек полки с книгой, которую, так же,

как и вчера, читал очень рассеянно.

Я смотрел в окошко на березовые рощи. Осень уже успела украсить их золотыми прядками, и мне было грустно и немного тревожно.

Проснулись тихие старушки, заняли очередь в туалет, пошептались, снова ушли, а потом сели завтракать.

Наконец, девушка пошевелилась.

Я деликатно отвернулся и сидел так, пока девушка, судя по шороху, не поднялась.

– Доброе утро. Как спалось?

– Ой, спасибо, спала как убитая. Кажется, даже ни разу не пошевелилась и всю ночь на одной щеке проспала, – ответила Иринка, улыбаясь и прикрывая ладонью порозовевшую щечку.

Мы поболтали, пока девушка стояла в очереди с полотенцем и платьем в руках, а потом я нетерпеливо ожидал ее, поминутно взглядывая на часы.

– Ну, вот и я, – сказала незнакомая девушка Иринкиным голосом и улыбнулась ее улыбкой. Сердце у меня стремительно ухнуло куда-то вниз.

– Долго? – улыбка немного ободряла.

– Нет, не очень.

– Я тебе нравлюсь? – спросили ее глаза.

– Очень, я даже немного боюсь тебя такой.

А вслух я сказал:

– Платье тебя очень изменило, встретил бы на улице – не

узнал.

Потом мы завтракали чаем с именинным пирогом.

Через неделю у меня был день рождения, и мама, отправляя меня в дорогу, пекла мой любимый «наполеон» заранее.

Мы опять сидели рядышком и говорили, но сейчас все уже было по-другому: не так легко и не так просто.

– Месяца через два, – говорил я, – в Пушкинском музее откроется выставка французских романтиков. Там будет Давид, Делакруа, и, кажется, Энгр. Обязательно нужно сходить на них.

– Да, – эхом повторяла девушка, – нужно будет сходить.

– Боже мой, – мысленно молил я, – ну скажи: мы пойдем.

И все изменится, все чудесно изменится в один миг. И я буду знать, что мне делать дальше... А так...

Разве я имею право на твою улыбку, твой голос, твое внимание?

Одно дело – дорога, а дом – Москва – совсем другое дело. Да и зачем я тебе нужен, такой красивой и умной, тебе, у которой, наверняка, много таких же красивых и умных друзей?

Разговор замирал, и оба мы чувствовали все возрастающую неловкость, и от этого избавиться от нее было еще трудней.

У меня оставался только один выход – попытаться назначить девушке свидание. Но я все не решался, охваченный непреодолимой робостью.

Ну, еще немного, вот, проедем километровый столб и то-



гда...

Мы проезжали этот столб, потом еще один и еще, а я все молчал и чувствовал, как неотвратно уходит отпущенное мне время.

Кажется, только что пересекли Оку.

– Серпухов, – подумал я, – еще сто километров.

А вот уже промелькнула пригородная платформа «Царицыно».

Разговор, между тем, совсем затих.

Изредка только перебрасывались мы отдельными фразами и опять замолкали, и, как будто безразлично, смотрели в окно.

Вокзал появился неожиданно. В последний раз дернулся и остановился состав. И опять бежали по перрону люди, на этот раз встречающие – с цветами.

Я смотрел только на девушку, а она, нервно теребя ремешок сумочки, искала глазами в толпе.

– Па-па!

– Вот и все, – устало подумал я, достал свой выдавший виды чемоданчик, заметил, как бросилась она вперед и обняла невысокого пожилого человека.

Увидел, и подумал, что это в последний раз – счастливое невидящее лицо девушки и прижатое к ее щеке морщинистое ухо отца – и бочком направился к выходу.

Я шел, машинально переставляя ноги, один в толпе веселых и шумных людей. Собственно, только сейчас я почув-

ствовал себя впервые и, по-настоящему, одиноким.

Я прошел по подземному переходу на залитую солнцем привокзальную площадь с бесконечным хвостом очереди на такси.

Вдруг я остановился пораженный простой и очевидной мыслью:

– Даже не попрощался! Взглянуть еще раз, проститься и уйти.

Только один раз. Только один.

Рванулся было обратно, но понял, что опоздал, махнул безнадежно рукой.

Поздно! Но не этого ли ты хотел в глубине души?

И боялся только одного – потерять свободу?

Ну что ж, ты сохранил ее, пользуйся!

Ты будешь спокойным и мудрым, будешь читать свои книги и еще долго-долго будешь один.

Если бы я только мог видеть, как отступила на шаг от отца Иринка и сказала шепотом, побледнев от волнения:

– Папа, я познакомилась с очень хорошим человеком. Его зовут Гена.

– Да где же он, твой хороший человек? – спросил отец, – я никого не вижу.

# Дом Пашкова

Нет, не случайно в том памятном разговоре в поезде мы так часто вспоминали Пашков Дом. На его каменной террасе решалась судьба героев любимого нами романа «Мастер и Маргарита».

Полвека спустя внутри этого дома решилась и наша судьба.

Но сначала я еще долго сожалел, что так глупо ушел, не попрощавшись и не попросив даже телефона или адреса. В конце – концов, если бы девушка не захотела продолжить знакомство, она так бы прямо и сказала, а я перестал бы вспоминать, и чувствовать себя законченным растяпой.

Потом я пару раз приезжал к ее институту на Садовом кольце, в надежде увидеть знакомое лицо в толпе спешащих по своим делам многочисленных студентов.

Но нет, все было тщетно.

Между тем пролетела уже половина осени.

В воскресенье, в двадцатых числах октября я, как обычно, сидел в Ленинке в правом полуэтаже антресоли и перечитывал «Дневники» Ван Гога.

Я все еще не избавился от мысли написать повесть в стихах о последнем периоде жизни великого художника.

Почему-то я отвлекся и бросил взгляд на сидевшего напротив меня молодого негра. Ничего в нем не было особен-

ного, негр, как негр, вполне даже симпатичный, меня только смущал вид его ладоней – неожиданно бледных с желтоватой синевой.

Раз за разом я отвлекался, чтобы посмотреть на эти странные ладони, и поймал себя на том, что совершенно перестал думать о книге.

– Нет, так дело не пойдет, – решил я и пересел за другой стол, так что оказался у негра за спиной.

Но видимо в этот день мне так и не суждено было сосредоточиться на страданиях бедняги художника.

Внезапно я почувствовал на себе чей-то взгляд, но тотчас же отогнал от себя эту мысль. К сожалению, общий читальный зал Ленинской библиотеки был не тем местом, которое пользовалось бы популярностью у моих знакомых.

Хотя нет, вон та девушка в проходе между колоннами определенно на меня смотрела. Но как я ни щурился, в надежде рассмотреть лицо этой девушки, порядочная уже близорукость не позволяла это сделать.

Внезапно, какое-то волнующее предчувствие охватило меня, и еще не узнав, а только смутно догадываясь, я рванулся к проходу.

Это была Она.

Ну как мог я не узнать ее лицо, которое снились мне почти каждую ночь?

Видимо, девушка не уследила за моим скоростным маневром, потому что, только увидев меня совсем рядом, она успе-

ла снять очки, и от этого немного смутилась.

А я, совершенно ошалев от нахлынувшего счастья, взял ее руку в свою ладонь и близко-близко заглянул в глаза, и задохнулся от того, какими прекрасными и родными они оказались.

Когда мы вышли на улицу, уже стемнело. Как обычно, короткий осенний день закончился, даже не успев как следует начаться.

Я совершенно не помнил, куда мы шли и о чем говорили. Я, по-прежнему, держал девушку за руку, как будто опасаясь, что она снова может исчезнуть, а я опять не успею сказать ей самого главного.

Я очнулся только, когда мы уже шли по улице Горького, теперешней Тверской.

Эта улица не была тогда такой шикарной, и простые студенты без всякого стеснения могли заглянуть в любое кафе-мороженое.

Вдруг пошел густой снег, первый в этом году. Крупные снежинки, падали удивительно медленно, зависая, как заправские воздушные акробаты.

Странное ощущение, впервые пережитое мною в душном поезде, снова охватило меня.

Я, как мог, объяснил его в этом стихотворении.

Снег в октябре

А помнишь ли ты снегопад в октябре?  
Как был он красив, умирающий снег.  
Мохнатых снежинок замедленный лёт,  
Как будто на вечность был сделан расчёт.  
Мгновенье прошло – и упали они  
Под ноги прохожих, под шины машин.  
Ни слова упрека, ни взгляда в укор,  
Но был нам понятен немой разговор.  
– Я первый, – шептал он, под небом кружась.  
— Я первый, – и падал в размокшую грязь.  
– Я первый, – был жертвенно светел и тих,  
И лаской несмелой касался земли.  
Он знал, что напрасен, он знал, что на миг,  
Что месяц еще до начала зимы.  
Другие снега пролетят чередой,  
Печальную землю покроют фатой,  
И долго в холодных объятиях их  
В безмолвном пребудет она забыты.  
– Другие возьмут тебя в жены, не я,  
Но радостно мне умирать за тебя!

Мы шли, улыбаясь, за руки держась,  
И был этот снег откровеньем для нас.

Наверное, мне нужно было очень сильно полюбить, для того, чтобы понять, что есть такие причины и есть такие лю-

ди, ради которых можно отдать все, что угодно, даже жизнь.

Я живу с этим ощущением уже больше пятидесяти лет, и к людям, которых я готов защищать любой ценой, кроме моей любимой добавились наши дети, а теперь и наши внуки.

Но тогда это все только начиналось, и еще ничего не было решено.

Она привела меня к себе домой и познакомила со своей семьей.

Мое появление встретили, скажем так, не однозначно.

Бабушка, Евгения Михайловна, была добрейшей души человек, которая души не чаяла в своей «внуке» и всегда ее поддерживала, была на нашей стороне.

Мать, Нина Васильевна, красивая женщина лет пятидесяти с небольшим хвостиком, была чем-то похожа на актрису Скобцеву, жену знаменитого режиссера Сергея Бондарчука. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что это женщина с сильным характером, к тому же она только недавно вышла вторично замуж, и на правах молодой жены позволяла себе некоторые капризы и перепады в настроении.

Нина Васильевна была медиком, служила в действующей армии в Отечественную войну, была награждена боевым орденом, вышла в отставку в звании подполковника, но продолжала работать по специальности в одной из военных академий.

Нина Васильевна была практична и честолюбива, поэтому общение дочери с бедным студентом, неизвестно откуда

появившимся в их доме, она с самого начала не приветствовала и даже не скрывала, что не о такой партии для своей взрослой дочери она мечтала.

Ее новый муж, Николай Иванович, был видным мужчиной, лет на пять старше жены и занимал солидный пост в Комитете по печати. До демобилизации он работал в кадрах МВД, а затем, будучи уже в зрелом возрасте, закончил редакторский факультет в институте, в котором сейчас училась и Иринка.

Как человек умный, Николай Иванович быстро сообразил, что я, пожалуй, могу стать его конкурентом в сердцах этих милых женщин, одна из которых его любила, другая вкусно кормила, а третья была просто ужасно мила.

Поэтому он, потихоньку начал строить мне козни, но не грубо и прямолинейно, что выглядело бы недостойно в этой интеллигентной семье, а умно, с подлинно профессиональной изощренностью.

Для того, чтобы проверить действительно ли я учусь по специальности, связанной с гироскопами, он принес с работы книгу по гироскопии, и просил Иринку выяснить, знакома ли мне она. А мне был знаком только курс лекций по теории гироскопов, и то только по чужому конспекту, потому, что на лекции я, как водится, не ходил.

То он начинал, например, подчеркнуто правильно пользоваться вилок и ножом, явно желая показать мне, как нужно есть рыбу, чем приводил меня в полное смущение. Случай-



но я прихватил кусочек лаврового листа, и, не зная, как правильно его отправить обратно в тарелку, счел за лучшее его проглотить. В результате оцарапал гортань и спровоцировал воспаление.

В еще более неловкое положение я попал, столкнувшись однажды со своей будущей тещей в троллейбусе. Она была нагружена авоськами с овощами, но я сначала увидел ее глаза, которые метали громы и молнии в мою сторону. Едва кивнув на мое приветствие, она прошествовала по тропинке к дому, а я, предчувствуя надвигающийся скандал, и не догадываясь о его причине, потерянно поплелся вслед за ней.

Уже стоя перед дверью, я слышал командирские раскаты ее голоса:

– Он невежа, твой Гена, не мог помочь поднести тяжелые сумки!

– Так вот в чем дело!

Да если бы она хоть глазом моргнула, я бы не только авоськи, но и ее мог бы заодно прихватить.

Тогда Иринке с трудом удалось погасить гнев своей матери.

У нее всегда было почти ангельское терпение и совершенно взрослая рассудительность.

Но и для нее еще ничего не было решено.

Вдруг, ничего мне не объясняя, она засобиравшись в Тарту, а вернувшись через пару дней из этого эстонского города, стала еще более ко мне мила, но так и не объяснила цель

своей внезапной отлучки.

А я был готов принять любое ее решение, но только после этой поездки, кажется, мы в первый раз с ней поцеловались.

А потом мы встречали Новый Год у них дома с родителями, и Иринке стало плохо от одного бокала шампанского. Я сидел рядом с ней на диване в их с бабушкой комнате, и не зная, чем помочь, только робко гладил ее рукой по голове и плечам.

В дни наших свиданий, я провожал ее до самой квартиры, а иногда заходил домой, где бабушка норовила покормить «бедного студента» поздним ужином, а потом возвращался через всю Москву на троллейбусе, затем на метро, а потом на электричке, как правило последней, в свое общежитие. Обычно, я засыпал в дороге, но почти всегда успевал проснуться прямо перед моей остановкой. Но несколько раз я просыпался уже перед Челюскинской, и тогда мне приходилось идти через зимний парк санатория. А однажды я проспал сразу две остановки, и для того чтобы добраться до моего пристанища, мне пришлось почти вприпрыжку по крепкому морозцу добираться сначала по шпалам, а затем уже через знакомый парк.

Наш сын имеет обыкновение, даже приходя к нам в гости на несколько минут, выкладывать на стол сразу несколько гаджетов, на которые ему без конца звонят разными рингтонами.

Однажды он спросил, как же мы поддерживали между со-

бой связь, когда не было мобильных.

– Больше того, – ответил я ему, – у нас не только не было мобильных, но и у твоей будущей мамы, даже домашнего телефона не было, а у меня в общежитии и подавно, но все равно, мы не только не теряли друг друга, но и находили способы оперативно решать важные вопросы.

Как-то раз я неожиданно встретил Иринку на лекции в Пушкинском музее, куда у меня заранее был куплен абонемент на весь сезон. Лекция, посвященная живописи Ватто, была прелестна. Цветные слайды очень хорошо передавали цветовую палитру художника, и мы получили большое удовольствие. Среди слушателей было два десятка старушек, а из молодежи, только мы с ней.

Я не помню, по какой причине она пришла ко мне в лекторий, возможно, это была очередная проверка, придуманная кем-то из родителей. Я ничего не скрывал от нее, мне просто нечего было скрывать. Но и для меня еще не все было решено.

Однажды, ранней весной, мы прогуливались вблизи Котельнической набережной. Она показывала дом, в котором родилась. Разговор зашел о планах на будущее. Тут я произнес пассаж, который можно было назвать очень откровенным, если бы он не был откровенно глупым.

– Я должен сначала защитить кандидатскую диссертацию. Не знаю, сколько это займет у меня времени. Возможно, годам к тридцати я все-таки женюсь, но только, боже упаси, не

на москвичке!

И это я говорил, идя рядом с чудесной девушкой, которую я, уже точно знал, что люблю. Но на меня словно затмение нашло. Да, это были мои мысли, которые я много раз твердил про себя, но это были мысли меня вчерашнего, или, точнее, полугодичной давности, и с тех пор уже многое изменилось, а я не удосужился это осознать.

Я еще продолжал говорить, но уже почувствовал, что меня занесло куда-то не туда, потому что вместо одобрения услышал молчание, от которого явно повеяло холодком.

Умница моя, она ничего не сказала, а я, не придумав ничего лучшего, принялся яростно пинать пустую коробку от обуви, попавшуюся мне где-то на мосту по пути к ближайшей станции метро.

Ночью в общежитии я проснулся на мокрой от слез подушке с мыслью об ужасной непоправимой ошибке, которую я, возможно, уже совершил.

А утром, я едва дождался встречи с любимой, и примчался к ней с букетом цветов, чистосердечно во всем признался, за что был прощен, и тут же сделал ей предложение.

Так мы уже решили все про себя, но еще предстояло убедить в этом ее родителей.

Я помню, как теплым весенним вечером после Первомая мы вместе вернулись с дачи, где за пару дней я вскопал, казалось, все грядки в тяжелой глинистой земле. Вот, мы идем по аллее на Ленинском проспекте, такие юные, и у нас еще

столько всего впереди. А стройные молодые липки, которые еще пару дней назад были еще почти голыми, успели выбросить нежные полупрозрачные листочки, которые в свете фонарей образуют легкую кружевную тень на темном асфальте.

А листья липы, как ладони  
Веселых, ласковых детей.  
Они послушные тихони  
С глазами маленьких чертей.  
Они еще полупрозрачны  
И так доверчиво чутки.  
Но только выждут миг удачный -  
Помчатся с ветром взапуски.  
Для них придуманы качели,  
Для них природы круговерть.  
Чтоб дети весело глядели,  
Чтоб липам снова зеленеть.  
Об них дождям июньским биться,  
И солнцу жарить без затей.  
И лето будет долго длиться  
Для всех: деревьев и детей!

В тот же май Иринка однажды совершенно неожиданно нашла меня в моем общежитии, в котором до этого никогда не была.

Повод был важным. К ним в гости приехала лучшая по-

друга Нины Васильевны, которая готова была встретиться со мной. Тетя Лена оказалась приятной рыжеволосой женщиной, которая общалась с нами как равная, а в заключение, обещала поговорить с Ниной по душам.

Помогло ли ее заступничество, либо мягкая, но настойчивая позиция моей невесты, но Нина Васильевна, казалось, сменила гнев на милость. Свадьбу назначили через год.

Правда, интриги на этом не закончились, но мы уже получили определенный статус и возможность больше времени проводить вместе.

Летом, после окончания четвертого курса института нас отправили на военные сборы на два месяца под Торжок в вертолетную часть. К боевой технике нас не подпускали, зато муштры, обычно достающейся рядовому составу, мы хлебнули предостаточно.

А для Иринки мать выхлопотала путевку в Пицунду на спортивную базу олимпийского резерва. Делалось это явно в надежде, что у нее появится новый кавалер.

За компанию они поехали с Ритой, ее лучшей подругой, а для защиты от назойливых ухажеров наивные девочки купили себе кольца из фальшивого золота, очень похожие на настоящие.

Я тосковал и писал ей письма едва ли не через день, она мне тоже отвечала и в одном из писем прислала свое фото – прекрасной юной нимфы, лежащей на мокрой гальке у самой кромки воды.

Зато какой волнующей оказалась наша встреча. Я приехал прямо к ней домой, весь пропахший железом и солдатскими буднями, а она была такой волнующе нежной.

С началом нового учебного года я устроился подрабатывать в Моспогрузе. Я твердо решил не обременять своих родителей дополнительными тратами и заработать на свадебный костюм и обручальные кольца самостоятельно. За каждый выход на работу в качестве подсобного рабочего на ММЗ платили по таксе: три рубля шестьдесят две копейки. Наверное, сделано это было, идя навстречу основному контингенту этой категории работников: бывших зэков и отселенных за сто пятый километр – это была цена бутылки водки «Московская». Смена начиналась после окончания занятий в институте, часа в четыре. Загружали нас работой очень неравномерно. То приходилось разгружать вшестером вагон флюса, после чего несколько дней хрустело на зубах и жутко ломило спину, то смена заканчивалась после нескольких часов полного безделья.

В Моспогрузе я подрабатывал с октября по май, и было уже совсем тепло, когда я окончательно повесил на крючок в раздевалке основательно послужившую мне ватную телогрейку и поставил под ней стоптанные кирзовые сапоги.

Пора было покупать обновки к свадьбе.

И тут оказалось, что у меня совершенно не костюмная фигура.

При размере плеч и груди в районе пятидесятого, я сво-

бодно помещался в брюки сорок четвертого размера.

Мы долго маялись с Иринкой, прежде чем подобрали, как нам казалось, более или менее, подходящий костюм: единственное его достоинство состояло в том, что он был черного цвета с искоркой. Однако он был шерстяной, в то время как свадьба намечалась в июне, пятидесятого размера, средней полноты. И если пиджак был слишком широк в поясе, но во всяком случае, я из него не выпадал, то это обязательно произошло бы с костюмными брюками, если бы я не стягивал их нещадно на талии ремнем.

Еще хуже обстояло дело с обручальными кольцами. Наглые девицы, стоящие за прилавком ювелирного магазина, то ли из зависти, то ли по другой причине, абсолютно неведомой нам, студентам, самостоятельно готовящимся к единственной в своей жизни свадьбе, грубили, дерзили, так что, я окончательно сбитый с толку, от смущения, купил кольцо, которое в нормальном состоянии просто спадало у меня с пальца.

Слава богу, что у моей невесты хватило настойчивости выбрать подходящее кольцо. А платье мы решили вообще не покупать. Белое выпускное платье выглядело совсем новым и превосходно на ней сидело.



# Скачко

Накануне дня свадьбы я впервые ночевал не в общежитии, а в квартире моего двоюродного московского деда Коти и его жены Валерии Ивановны.

Дед тщательно подбирал для меня едва ли не первый в моей жизни галстук, а наутро мы купили букет белых пионов и отправились на встречу с невестой.

Мой двоюродный дед, родной брат моей бабушки, Скачко Константин Артемович, уже к тридцати годам был довольно большим начальником: управляющим шахтами в Донбассе.

Еще в начале тридцатых годов был репрессирован по одному из громких дел, имеющих якобы уголовную основу.

Он отбывал заключение в одном из лагерей Гулага в Западной Сибири: пилил вековые деревья и заработал язву желудка.

Его жена отказалась от него, как от врага народа, и он до конца жизни не простил ни ее, ни дочь, которая, была совершенно не виновата.

Во время войны условия заключения ему изменили и послали руководить производством на одном из химических заводов Урала, где в это время работала молодая ученая Карькина Валерия Ивановна.

Здесь между ними свершилось некое таинство, которое оказалось любовью на всю жизнь.

Валерия Ивановна успешно завершила работу по внедрению технологии непрерывного разлива пороха, за что в составе небольшой группы получила Сталинскую премию.

А Константина Артемовича снова отправили на лесоповал, где он чуть не умер после тяжелой операции.

Через несколько лет, уже после смерти Сталина, дед был реабилитирован. И все эти годы Валерия Ивановна ждала, чтобы после освобождения Скачко, выйти за него замуж.

Валерия Ивановна преподавала в Менделеевском институте, и жили они поблизости от места ее работы в двухкомнатной кооперативной квартире. Константин Артемович не работал, находился на пенсии, но всегда был занят многочисленными делами, которые он выполнял с редкой пунктуальностью и аккуратностью.

Они с Валерией Ивановной постоянно путешествовали по разным городам, в разные годы приезжали и в Мукачево, и к нам в Светловодск, и везде дед снимал на ручную камеру, после чего обрабатывал пленки и делал любительские фильмы.

По-хорошему я даже завидовал такой цивилизованной старости, совершенно не похожей на жизнь моих родных дедушки и бабушки, вечно всем недовольных, брюзжащих и обиженных на весь белый свет.

Константин Артемович утверждал, что встречался с Солженицыным, когда тот собирал материал о Гулаге и его воспоминания тот также использовал при написании знамени-

той повести «Один день Ивана Денисовича».

Правда, он не стал распространяться на эту тему, а я не очень расспрашивал его об этой стороне жизни.

Скачко принимали деятельное участие в нашей с Ириной свадьбе. Дедушка Котя сделал по этому поводу фильм, а потом последовали фильмы по случаю рождения нашего сына и дочери. Мы часто встречались, и все самые счастливые моменты нашей семейной жизни он старался запечатлеть на кино и фото пленке.

Когда пришло время и Валерии Ивановне выйти на пенсию, поначалу казалось, что жизнь у них будет продолжаться в прежнем ключе, но она явно не знала, что делать с внезапно появившимся свободным временем. Валерия Ивановна сделалась замкнутой, неразговорчивой, а затем у нее появились явные признаки душевной болезни. Константин Артемович места себе не находил, водил ее по врачам, и вдруг анализы выявили онкологическое заболевание в последней, неоперабельной стадии.

На похоронах Валерии Ивановны, после того, как выступили почти все родственники: и ее, и наши, приехавшие из Днепропетровска, встал дед Котя, и все увидели, как он сдал за это время. Но еще больше мы удивились его словам. Он обвинил всех присутствующих в том, что никто не смог оценить его жену по достоинству. Он глубоко обижен, и не желает больше нас видеть. Он умер через три недели, не сумев пережить свою любовь, непримиримый и непреклонный.

Разумеется, мы ни на что из их вещей не претендовали. Все, включая многочисленные фильмы, забрала родственница из Днепропетровска, там они и пропали.

Вот такая грустная история получилась о верной любви. Но, видно, так уж выходит, что даты счастливые часто соседствуют со скорбными датами.

# В обсерватории

## Первая командировка Из Дневника

Я лечу ночным рейсом в полутемном шумном салоне «Ил-18». В зыбком забытии короткого сна фигура казашки-стюардессы с плоским, как у каменного идола лицом и огненными крашеными волосами кажется сказочной и нереальной. Такими же нереально прекрасными показались мне горы на аэродроме в Алма-Ате. В холодном, сухом предрасветном воздухе я принял их сначала за розоватые клубы облаков, охвативших небо и город с трех сторон.

В назначенное время машины, которая должна была встретить меня, не оказалось и пришлось добираться до базы с пересадкой на двух городских автобусах. База располагалась в противоположном от аэродрома конце города, в одноэтажном доме с палисадником за высоким забором. Несмотря на ранний час, из трубы на крыше дома валил дым и хозяйка, полная женщина с милым украинским говором, мыла полы. Я поздоровался, назвал себя и тут же получил комплект чистого постельного белья и кровать в угловой комнате с окном, выходящим на задний двор.

Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко. Остроконечные горы на горизонте были ослепительно белы, и только заглядывающая в окно ветка расцветающего абрикоса сохраняла утреннюю розовость. Часы показывали половину восьмого, но я вспомнил, что разница с московским временем составляет здесь три часа. На дворе слышался рокот мотора, чьи-то голоса и стук бревен. Я оделся, заправил кровать и вышел во двор. Было по-весеннему, по-доброму тепло. Щурясь от яркого солнца, я подошел к грузовику, в который два парня грузили сосновые и березовые кругляши. Мужчина лет пятидесяти, седоватый, розовощекий, в белом дубленом полушубке и начищенных до блеска хромовых сапогах стоял, опершись на бревно, и пристально за ними наблюдал. Я представился и спросил, скоро ли в горы пойдет машина. Он ласково так улыбнулся и сказал, что вот эта, он сделал ударение на эта, пойдет сейчас, а легковая будет только вечером. Я ответил, что непременно сейчас.

– Ну что ж, – опять улыбнулся Николай Кузьмич, потому что именно так я буду его называть, – если хочешь ехать в кузове – пожалуйста – в горах в кабине больше чем вдвоем нельзя.

– А как там в кузове? Не очень?

– А ты попробуй, тогда узнаешь, – вмешался в наш разговор один из парней, совсем мальчишка.

Я почувствовал в его голосе насмешку и тут же решил ехать.

Мы живо накидали бревен вровень с кузовом, и машина тронулась. Сначала я сидел в кабине, пригнувшись, «чтобы инспекция не заметила», так что дороги толком не разглядел. А когда грузовик остановился, оказалось, что мы уже в горах. Я так давно жил на равнине, что забыл какое при этом бывает ощущение, но только увидел их вблизи и тотчас же вспомнил.

– Го-ры!

Правда, еще не те, скалистые засыпанные снегом, которые я видел с аэродрома. Это были круглые, поросшие деревьями, кое-где виноградниками. Мы стояли в ложине. Где-то, невидимый за валунами, журчал ручей. Над горами, которые можно было назвать просто большими холмами, висел густой туман, и солнце проглядывало сквозь него тусклой алюминиевой заклепкой.

– Приехали, – мрачно сказал шофер, – дальше даже рейсовые автобусы не ходят.

Он покопался за сиденьем и вытащил кусок брезента:

– Прикроешься пока, а то замерзнешь.

– А потом? – попробовал пошутить я.

– Потом жарко станет.

– Ну да, конечно! – подумал я, но выбора не было.

Скоро мы поднялись еще выше и въехали в густой и холодный туман. Машина отчаянно редела, кланялась на ухабах и, казалось, что не будет конца ни этому туману, ни бестолковым поклонам. Я поднял воротник пальто, накрыл-

ся брезентом, но уже через несколько минут отсырел и замерз отчаянно. Кажется, только ехидная ухмылка мальчишки удерживала меня от того, чтобы не застучать по кабине и не попроситься вовнутрь. Потом туман стал постепенно редеть, и я заметил, что совсем рядом неопрятными рваными клоками лежит снег, и горы, мимо которых мы проезжали, стали значительно круче и выше и оцетинились темно-зелеными елями.

Солнце постепенно проглядывало и мне стало гораздо теплее. Брезент больше был не нужен, я сложил его и сунул под себя. Слева от нас вдоль дороги выгибалась высокая каменная дамба, у подножия которой узенькой строчкой пенился ручей. Переехав через небольшой мост, мы повернули почти на сто восемьдесят градусов, и дамба, и ручей, и какие-то строения за ручьем очутились прямо под нами. Я взглянул назад и увидел, что то, что я принимал за плотный туман, было белым пушистым облаком, сквозь который уже ничего внизу не было видно.

Машина все урчала и пыхтела, и мы забирались все выше и выше. У меня прямо дух захватывало, когда-то по левому, то по правому борту открывалась пропасть. Солнце старалось вовсю. В какую бы сторону не поворачивала машина, оно било прямо в лицо, и, даже смежив веки, я чувствовал его обжигающее сияние. Когда серпантин по голому склону горы окончился, и на ее вершине мы повернули в очередной раз, неожиданно начался лес. Огромные заснежен-



ные ели росли под нами и выше нас, и мы проплывали под их величественными лапами, как будто уменьшаясь до смешных, почти игрушечных размеров.

На одном из поворотов машина остановилась и, хлопнув дверцей, из кабины выбрался красный, распаренный пацан.

– Ух, – сказал он, – жарко.

И, усевшись рядом со мной, принялся стаскивать клетчатую рубаху.

– Не замерзнешь? – спросил я, и с уважением посмотрел на его худое загорелое тело, – это ты здесь?

– А то где же! Да это пустяк, ты вот на дядю Митюню поглядишь!

Глядя на него, снял пальто и я, но дальше раздеваться не решился. Так мы сидели, опершись о сучковатые бревна, а над нами и вокруг нас разворачивалась восхитительная панорама сияющего снега и гор, поднимающихся уступами к самому небу.

– Стой, – закричал мой сосед и заколотил по крышке кабины, – айда воду пить!

Он спрыгнул вниз и полез через глубокий пушистый сугроб. Скорее из любопытства я отправился за ним и застыл от удивления. Передо мной был глубокий и узкий овраг, поперек которого лежала металлическая труба. Одним концом она уходила в землю на той стороне оврага, а на этой стороне была заткнута деревянной пробкой. По всей длине трубы были просверлены тонкие отверстия, через которые на

дно оврага тонкими струйками стекала вода. А там, на дне оврага, навстречу им взметнулась на пятиметровую высоту огромная остроконечная глыба льда ярко голубого, почти синего цвета.

– Отчего она такая? – спросил я парня.

Он заткнул пробкой трубу, откуда рвалась наружу хрустальная струя, посмотрел на меня:

– Это от неба. Видишь, какое оно синее. Да ты пей. Внизу такой воды нет.

Я сделал, для порядка, несколько глотков, и у меня заломило зубы.

– Поехали, что ли?

В очередной раз свернув, мы выехали на плотину, которая подпирала большое, стиснутое между двумя крутыми горами озеро удивительного бутылочно-зеленого цвета.

– Озеро видишь? – спросил мой спутник, – Большое Алма-Атинское. Глубина в нем знаешь какая? Приезжали тут, мерили, так дна достать не могли.

– А рыба в нем есть? – загорелся я.

– Не. Вода больно холодная и зеленая в любую погоду.

Я так и не понял, почему это здесь льдина голубая, а озеро зеленое, но спрашивать больше не стал.

Справа показалось несколько домишек с высокими крышами, выложенными малиновой черепицей. Снова начался серпантин и дома с малиновой черепицей, и зеленое озеро уходило все дальше и дальше вниз. Я как будто захмелел

от света, горного воздуха и бесконечного кружения. Перед глазами у меня мелькнул черный, совсем оттаявший склон, неправдоподобно густо усеянный звездочками подснежников.

– Ну, вот и приехали. Вон она база.

Свернув в последний раз, машина выехала на большую плоскую, даже как будто немного вогнутую площадку, огороженную со стороны склона проволочным забором, а с противоположной стороны невысокой каменной грядой с редкими елями. На площадке было разбросано с десяток невысоких домишек, и маленькая, похожая на консервную банку, металлическая башня телескопа.

Подъезд был совершенно не расчищен, и машина медленно ехала по засыпанной свежесвыпавшим снегом колее.

– Во, снегу навалило. Видишь там, выше – дорога идет?

– Ну, вижу.

– Это на «Космос». А обвал там видишь? Там вчера два бульдозера завалило. Они дорогу расчищали, а тут лавина сошла. Один бульдозерист вовремя заметил и выскочил. Так его машину перевернуло и вниз стащило. А другой испугался. Хорошо еще на край лавины попал. Его только засыпало с головой. Через крышу вытаскивали.

– И что теперь?

– Да ничего. Другие приедут и бульдозеры откопают.

Последние слова он произнес, уже соскакивая с остановившейся между домами машины.

Двери одного домика, стоящего ближе к камням и поднятого на деревянных столбах метра на два над землей, открылись. На пороге появилось несколько подозрительных личностей в огромных брезентовых куртках с меховыми воротниками, и с багровыми, будто ошпаренными кипятком физиономиями.

– Ну, что, как доехали? – ослабившись, спросила одна из них, в защитных очках, прицепленных за дужки к бумажному, свернутому из газеты, колпаку на голове.

– Милости прошу к нашему шалашу – пропищала другая, замотанная в цветистый платок и с облупленным носом.

– Ну, заяц, погоди! – неистовствовала третья, махая знакомой четырехпалой рукой.

Это были мои товарищи по работе, приехавшие сюда двумя днями раньше. Я спрыгнул из кузова, в котором проехал весь подъем в горы, угодив прямо в лужу от таявшего в обилии снега.

– Ты не обедал? – заботливо спросил газетный колпак, оказавшийся моим начальником Виктором Петровичем, – на тебя обед заказан. А потом спать. Здесь, знаешь ли, высота, нужно привыкнуть.

Так началась моя первая командировка...

# В горах Заилийского Алатау

Я прилетел в Алма-Ату и добрался до обсерватории, расположенной в горах Заилийского Алатау на два дня позже остальных сотрудников.

Почему так получилось?

Да просто я только накануне защитил диплом, и получил корочку, свидетельствующую о высшем образовании и си-ний ромбик.

А уже на следующий день мне позвонил мой руководитель группы Виктор Петрович и как бы невзначай поинтересовался, как у меня со здоровьем и готов ли я к командировке.

Я ответил, что со здоровьем у меня все в порядке и к командировке я готов, в глубине души надеясь, что это произойдет еще не скоро.

– Хорошо, – сказал мой начальник, – тогда выходи завтра на работу оформлять командировочные, билет для тебя на самолет мы уже забронировали.

Итак, я нахожусь в небольшой обсерватории в горах Заилийского Алатау, расположенной на высоте 2750 метров над уровнем моря. Давление 500 мм ртутного столба и 300 ясных ночей в году – таковы основные характеристики этой местности, в которой мне пришлось прожить практически круглый год.

Именно ясных ночей, а не дней, потому что погожих дней

здесь было вполовину меньше. Бывало, день такой дрянной, что дальше некуда: и дождь, и туман, и чем ближе к вечеру, тем крепче у тебя надежда, что и ночь будет такой же. Но едва начинало темнеть, как скатываются вниз последние клочки тумана, и на бархатном черном небе вспыхивает огромное количество звезд, выпуклых, почти не мигающих. А потом всходит луна, большая, круглая.

В следующие за моим прибытием два дня почти без остановки шел снег. Мы погрузились в густое, вязущее звуки как ватное одеяло, облако. Снег валил буквально со всех сторон, кажется, даже снизу. Он напал почти до крыш. Но стоило снегу немного поутихнуть, как тот же туман набрасывался на него – и как будто языком его слизывал – яростно и помногу.

Эти дни мы поневоле провели в вынужденном безделье. Играли в карты с местным астрономом, а я сидел рядом со своей книжкой по философии.

Как только погода наладилась, Виктор Петрович устроил нам разнос, в котором, как, мне кажется, больше всех, нуждался он сам.

Тем не менее, об отдыхе пришлось забыть на долгие месяцы. Работы, действительно, было много. Нам в считанные дни предстояло подготовить обсерваторию к прибытию многочисленных смежников, которые вот-вот должны были появиться со своей аппаратурой.

Первым делом запустили дизель – генератор на пятьдесят киловатт, который притащили рабочие на тракторе и уста-

новили в отдалении.

Виктор Петрович оказался на все руки мастер. Он и с генератором был «на ты», и во всем остальном хозяйстве разбирался. Сначала нам предстояла работа в основном физическая.

Нужно было разгружать и устанавливать прибывающую аппаратуру, протаскивать кабели в заранее подготовленные трубы – кабелегоны и тому подобное.

А было нас всего трое: Виктор Петрович, я и странный парень, как и я, молодой специалист, назову его «Заяц», из-за его любимой присказки из знаменитого мультфильма.

А скоро нас и вовсе осталось двое. Получилось так. Приехали лазерщики – молодые здоровые ребята. Привезли с собой молочный бидон спирта, который был им необходим для охлаждения системы. После обеда пригласили нас выпить для знакомства.

На импровизированном столе было немного закуски и неразбавленный спирт в большом графине. Лазерщики пили спирт гранеными стаканами и почти не пьянели. Я выпил от силы грамм сто, а Заяц, как не одергивал его Виктор Петрович, старался не отставать от гостей.

В результате он проспал в течение двух суток и, очнувшись, совершенно ничего не помнил. А нам пришлось вдвоем в спешном порядке делать контур заземления для дизеля, положенный по технике безопасности. Для этого мы пробивали ломami шесть полуметровых лунок в мерзлом

грунте, да еще в условиях высокогорья. Мы пришли к обеду взмокшие, без дыхания, а в комнате нас ожидал Заяц, мычащий что-то несурзное.

Разразился скандал. Я не помню, когда точно уехал этот парень, но больше я его не видел даже в отделе.

После физических неквалифицированных работ, начались монтажные, требующие определенных навыков. Прежде всего, мне предстояло научиться паять. Какой-то опыт у меня был. Еще в детстве я конструировал рыбацкое устройство – девон – из медных трубок.

Но здесь нужно было стать профессионалом. Ведь нам предстояло соединить между собой несколько шкафов с аппаратурой, изготовленной не только в разных институтах, но и в разных городах. В качестве соединительных элементов использовались так называемые «бортовые» разъемы, то есть, применяемые в космической технике – малогабаритные и многоконтактные. Разъем размером, скажем, с современный металлический рубль, мог иметь до сорока контактов.

Свой первый разъем я распаивал почти сутки, с перерывом на сон в течение трех или четырех часов. Как раз в это время приехал наш начальник лаборатории, мужчина лет около сорока, с лицом и телом аскета. Таким он и был на самом деле.

Как оказалось, я попал в коллектив людей, фанатически преданных своему делу. И мне предстояло пройти испыта-



ние на право работать в этом коллективе. Начлаб весьма скептически оценил мою первую монтажную работу и сказал, что такой разъем нужно распаивать за сорок минут.

– Хорошо, – сказал я, – не пройдет и двух недель, как я уложусь в этот норматив.

И действительно, к концу командировки я мог продемонстрировать ему разъем, который я сумел распаять даже за меньший срок. Начальник сдержанно похвалил.

И я понял, что становлюсь здесь своим.

С девяти часов утра до половины десятого в столовой подавали завтрак. К нему старались не опаздывать.

Но уже за час до завтрака, словно какая-то неведомая сила подбрасывала меня с раскладушки, на которой я спал, и я отправлялся на пробежку. Первые дни я пробегал от силы метров двести – сказывались горы. Но каждый день я удлинял свой маршрут, и, выбегая за ворота станции, направлялся по длинному тягуну, ведущему на станцию «Космос».

На территории станции была спортивная площадка с турником и другим нехитрым скарбом. Когда не было глубокого снега, я продолжал занятия на турнике, вспоминая свое гимнастическое прошлое.

Со своими я встречался уже в столовой, и меня часто спрашивали, отчего у меня такой бодрый вид. Я отвечал, что вернулся с пробежки, но может быть, настоящей причиной была моя молодость.

Каждый раз, проснувшись, я видел в окошке перед со-

бой горы: ослепительно – белую заснеженную грядку и полоску густо-синего воздуха над ней. И еще шум. Он слышался круглые сутки. Чуть ослабевая к утру и набирая к вечеру мощность реактивного двигателя. Это шумел горный ручей, разбухший от талой воды. До него километров пять – на склоне соседней горы, но в темноте казалось, что он ревет совсем рядом.

В отличие от следующей продолжительной разлуки с моей любимой, которая случилась уже через пару лет, и от которой остались десятки моих писем, в этот период писем я не писал. Это просто не имело смысла. Зато мы использовали более современную связь. Нужно было, сначала по радиации связаться с Алма-Атой, назвать пароль правительственной связи и через минуту нас соединяли с Москвой. Правда и стоила эта услуга (по тем временам) очень дорого: один рубль за минуту связи.

За первую командировку мы наговорили страшно много. Институтское начальство приняло меры, и с нас вычли за все частные разговоры. По приезду в столицу я пошел получать аванс, а оказалось, что я еще и остался должен.

Из обсерватории мы уезжали шумно и весело. В легковой газик набилось восемь человек, плюс еще наши сумки с вещами. Накануне выпал пушистый снег, а грейдер, который обычно расчищал дорогу со станции «Космос», еще не прошел. Мы решили не дожидаться помощи, а рискнуть, так как билеты на самолет были куплены заранее. Наш козлик урчал

и ревел, пробираясь по снежной целине. Он зависал над пропастью передним колесом то с одной, то с другой стороны. А мне, расплющенному на заднем сидении соседями, были видны только кусочки дороги и бездна то справа, то слева от меня.

Зато мы приехали в город довольно быстро. Он встретил нас почти тридцатиградусной жарой и тропическим ливнем. Под раскатистое гromыхание, мы, как были в зимней одежде, меховых шапках и пальто высадились на одной стороне площади и, чтобы перейти на другую ее часть, должны были разуться, и, закатав брюки и сняв обувь, перебираться через мутные потоки почти по колено в теплой, как парное молоко, воде.

## В обсерватории

Начальник нашего отдела по фамилии Квадр-Градский, за глаза именуемый просто «Квадр», был не только формальным, но и неформальным лидером отдела.

Последнее время отдел работал над реализацией идеи Квадр-Градского, разработанной в его кандидатской диссертации. Принципиально эта идея не была чем-то новым, тем более секретным, и однажды была даже напечатана в журнале «Техника молодежи».

Проблема была только в том, как получить из космоса отраженный сигнал. Но тут подоспела космическая одиссея наших «Луноходов». Когда стало известно, что на «Луноход – 2» также поставят уголкового отражателя, программа завертелась.

Я попал в группу Виктора Петровича, который как раз разрабатывал устройство синхронизации всех приборов, участвовавших в лазерной локации: телескопа, сканирующего устройства, собственно лазера и специального фотоаппарата. По этой работе я написал диплом, освоил в теории и теперь должен был помогать реализовывать на практике.

В следующую свою командировку я выезжал в составе довольно большой группы. Кроме всего прочего, мотков силовых и специальных кабелей, проводов, инструментов и разъемов, мы везли два ящика. Один огромный (в сечении по-

что метр на метр и длиной больше двух метров), в нем находился тщательно упакованный специальный прибор "лунный гид" – устройство автоматического слежения за Луной. Этот ящик мы загрузили в грузовой люк самолета. Второй ящик был значительно меньшего размера, и его мы взяли с собой в качестве ручной клади. В нем находился практически бесценный груз – главное оптическое зеркало нашего телескопа.

Полет прошел без приключений, а начались они уже в Алма-Ате, куда наш самолет прилетел глубокой ночью. Мы вышли из здания аэропорта, встретили машину, которую исправно прислал начальник экспедиции Николай Кузьмич, и принялись ждать багаж.

Однако оказалось, что его никто и не собирался нам доставлять – экипаж отправился спать. Мы долго разыскивали старшего по аэродрому, объяснили, что у нас важный груз, который мы, по секретному правительственному заданию, должны срочно доставить на объект. В конце концов, мы получили устное разрешение забрать ящик самим. И вот, вчетвером, мы идем по никем не охраняемому аэродрому и, подсвечивая себе фонариком, разыскиваем наш самолет.

Это удалось сделать не с первого раза. Первый самолет, в багажный отсек которого мы заглянули, был пуст. Наконец, мы нашли самолет и наш ящик, и, после долгих усилий, сняли его и понесли через весь аэродром. Мы шли довольно долго, меняя уставшие руки, и только на входе в здание вокзала

кто-то несмело поинтересовался, что, собственно, мы несем.

– Атомную бомбу! – брякнул кто-то из наших, и мы беспрепятственно вышли на привокзальную площадь.

Справедливости ради, замечу, что такой порядок, вернее, беспорядок царил в аэрофлоте недолго, и уже меньше чем через год мне пришлось везти стратегический запас спирта поездом.

Несмотря на то, что я отсутствовал в обсерватории меньше двух недель, здесь уже успело смениться очередное время года: наступило короткое горное лето. На полянке над откосом расцвели горные тощенькие желтые тюльпаны, зазеленела жидкая травка, с трудом пробивающаяся сквозь крупную щебенку, тонкими стрелочками выглядывал дикий лук. Его-то я сразу заметил.

Но напрасно мы рассчитывали, что роскошный весенний загар на наших лицах можно будет закрепить летним солнышком. Все получилось с точностью до наоборот. Значительно больше стало дней, когда мы по многу часов не вылезали из холодных мокрых туч, которые от души поливали нас различного свойства дождичками: и прямыми крупными, и косыми секущими, и мелкими морозящими, так что теплые меховые куртки и яловые сапоги оказались для нас одеждой просто незаменимой.

А ночи... С ночами все было в полном порядке. Иногда природа, как будто желая нас утешить, давала прекрасные многоцветные концерты: на фоне разломов туч высвечива-

лись огромные полноцветные, иногда двойные, как будто целующиеся друг с другом радуги. Ночи были ясные, холодные, иногда темные и звездные, но чаще озаренные чарующим светом луны, очень крупной даже по обычным меркам.

Но совершенно потрясающее зрелище открывалось при взгляде на ночное светило в зрачок окуляра. Во-первых, она была огромна, в полнеба, и отчетливо были видны все лунные горы и кратеры и моря, и хребты, словом, все ее таинственные прелести. Во-вторых, когда заработал «лунный гид», было такое ощущение, что Луна не плывет, как обычно по небосводу, а полностью остановилась. Но еще более сильное зрелище приходилось наблюдать, когда планета стояла низко, касаясь высокой зубчатой гряды гор.

И даже зная, что в телескоп видишь перевернутое изображение, и что горы неподвижны и находятся не сверху, а там, где им и положено быть, на земле, трудно было отделаться от оторопи, когда видишь своими глазами, как неведомые чудища жадно набрасываются откуда-то сверху и проглатывают неподвижный сверкающий диск.

Между тем, появлялись все новые люди, которых встречали с энтузиазмом совсем не показным. Приехал Костя Тесляр, красавец – хохол из соседней лаборатории. Он всегда представлялся так: я родом из Диканьки. Костя был оптиком, и он всегда ходил со своим механиком как Дон Кихот и Санчо Панса. Шутя, они называли себя:

– Мы ж оптики, – звучало слитно.

Приехал специалист из астрономического института Саша Фокин. Он был другом еще с университетской скамьи семейной пары местных астрономов, по фамилии Шевченко.

Приехали две незамужние девушки из Питерского объединения. Старшая была кандидатом наук и автором прибора под названием «лунный гид», который остряки тут же окрестили «лунной гнидой».

Скоро основные работы переместились в обсерваторию, где на телескоп все навешивали и навешивали разные приборы и устройства, пока не возникла опасность, что все сооружение может в один момент не выдержать и рухнуть.



# Шевченко

В обсерватории постоянно работало несколько астрономов, но я довольно близко познакомился только с одним из них – Виктором Шевченко, и немного меньше с его женой. Витя был нашим куратором и ответственным за нашу программу от обсерватории. Это был хороший парень, немного лет за тридцать, добрый, ответственный, похожий на Гоголя большим вислым носом. А его жена была красавицей. Жгучая брюнетка с пышной фигурой. Как-то сразу бросалось в глаза их явное несоответствие друг другу.

Немного прояснил ситуацию их университетский друг Саша Фокин.

Ольга считалась первой красавицей на факультете астрономии в МГУ. Сибирячка со звучной украинской фамилией Шевченко.

А в жизни настоящим украинцем был Виктор. Витя долго завоевывал девушку своей преданностью, но окончательно сразил ее тем, что неожиданно взял ее знаменитую фамилию.

Летом мы остались в обсерватории вдвоем с Шевченко

Однажды он поехал в город и захватил меня с собой. Первым делом мы отправились на рынок и воочию убедился, что цены на овощи в Алма-Ате были, действительно, «ни почем». Они не шли ни в какое сравнение не только с Москов-

ским рынком, но даже с рыночными ценами на Украине, с которыми я был хорошо знаком. Единственное, что Витя не советовал мне, так это покупать бахчевые, которые здесь не выращивают, а сплошь привозят из соседнего Узбекистана.

После рынка мы подъехали к телеграфу. И хотя Шевченко отправился туда один, но после того, как он вернулся, размахивая квитанцией, и с таким скорбным лицом, что сомнений у меня не было: он в очередной раз отправил денежный перевод отдыхающей на юге жене.

Вообще, это был парень с железными нервами. Однажды, в его отсутствие, я что-то проверял на нашей аппаратуре в телескопе. Удобства ради, я накренил его так, что он принял практически горизонтальное положение. В это время в помещение вошел Коваленко, и я поразился тому, как кровь буквально отхлынула у него от лица. Ни слова не говоря, он медленно развернул телескоп и только потом объяснил, чем грозила нам такая ситуация. Главное зеркало телескопа не крепится, а держится только на «сухариках». Поэтому я мог запросто его разбить, развернув телескоп в такое неподобающее положение.

– А ты знаешь, что главное зеркало стоит столько, что мне придется работать всю жизнь, чтобы купить хотя бы его половину? – только и сказал тихо Витя, когда у него немного отлегло от сердца.

Что и говорить, очень душевный человек был Витя Шевченко

Поэтому я нисколько не раздумывая включил его в число главных героев своей фантастической повести.

# Механик

Наконец, приехал Механик, личность, прямо скажу, легендарная. Дело было задолго до появления фильма «Москва слезам не верит», но вполне вероятно, что сценарист фильма списал роль Гоги, в исполнении блистательно-го Алексея Баталова, с нашего Механика, правда, несколько этот образ, скажем так, облагородив.

А, может быть, на Руси всегда существовал не один, а несколько гениальных мастеров своего дела.

Наш Механик был страшный охотник до женского пола и порядочный матерщинник, словом, как теперь говорят, абьюзер.

Объединяли с героем фильма в нем две черты: он был рабочий-механик, и он был гений.

Механик был женат, но через пару дней уехал в город и потом в красках рассказывал о своих сексуальных похождениях. В работе Механик шуток не любил. Раскритиковал нас по поводу безобразного состояния рабочих инструментов, но мельком похвалил меня, сказав, что хоть сейчас могу работать монтажником третьего разряда.

О значении его талантов говорит такой эпизод. После всех предварительных работ наступил самый сложный момент: юстировка телескопа. Нужно было так настроить устройства, чтобы оптическая ось телескопа совпадала с осью стрельбы

лазера.

По поводу оптической оси телескопа. Самая любимая шутка оптиков состояла в том, чтобы выбить у хозяйственников дополнительный объем спирта на протирку этой самой оптической оси, вещи, как сейчас выражаются, виртуальной.

Юстировка не получалась. Ни у Тесляра, ни у Фокина, ни у прибывшего в этой связи самого Квадра-Градского. Выхода не было: нужно снова вызывать Механика, занятого бог знает на какой чрезвычайно важной работе. Механик приехал, обругал нехорошими словами, выгнал всех из телескопа, оставив только «Квадра», который был у него подручным.

Звукопроницаемость в металлическом корпусе была прекрасная, и мы слышали, как Механик распоряжался нашим гордым начальником: Витя, подай то, принеси это, дай закурить и так далее, приправляя свои указания смачными выражениями.

Наконец, после нескольких часов дверь отворилась, и из нее скромно вышел Механик и сияющий «Квадр».

Юстировка прошла с точностью, превышающей расчетную.

# Тренировка на расслабление

Наша группа, состоящая то из трех, то двух человек, а потом и из меня одного, именовалась автоматчиками. Конечно, не в том смысле, что мы были вооружены. В наши функции входило обеспечение всего комплекса работ. Поэтому днем мы старались выполнить свои работы, а потом страховали, например, работу лазерщиков, если они задерживались. А когда комплекс, наконец, задышал, астрономы, которые в светлое время мирно спали, выходили работать по луне, а наш рабочий день все продолжался и продолжался, порой, до самого рассвета.

По какому-то положению об охране труда, срок командировки не должен был превышать календарного месяца. В первой командировке мы пробыли почти месяц. И почти сразу же после майских праздников вернулись в горы. Но потом время пребывания в обсерватории естественным образом стало синхронизоваться с фазами луны. Таким образом, три недели я проводил в командировке, а неделю в Москве. Это был трудный режим даже для меня, а уж тем более для моих старших товарищей.

Начальник лаборатории, самый старший из нас, вспомнил о занятиях йогой. Теперь, по утрам, можно было наблюдать занятную картину: на поляне, покрытой цветущими желтыми маками, над крутым склоном горы на резиновом коври-

ке сидит один чудик в позе лотоса, а другой бегаёт вокруг и делает гимнастические упражнения.

По причине большой занятости выходных дней у нас не было. Был день прилёта и акклиматизации, для впервые прибывших, и все. За первые несколько месяцев мы только однажды совершили небольшую прогулку к Большому Алма-Атинскому озеру и познакомились с бытом семьи знакомого Вите Шевченко чабана.

Естественной отметиной такой безразмерной недели была баня, с парилкой и всеми необходимыми аксессуарами. Так и говорили: осталось две бани, или одна баня до возвращения домой. Кстати после бани, которая занимала по времени от силы часа три в послеобеденное время, мы неизменно возвращались на рабочее место и работали всю ночь.

И только однажды этот порядок был нарушен. До конца командировки оставалась одна баня и мы уже были настолько измотаны, что начинали задремывать ночью сидя даже не на стуле, а на простой лавке без перил. После бани начлабу пришла, как ему показалось, хорошая идея провести с нами аутогенную тренировку на расслабление.

– Десять минут – и усталость как рукой снимет, – рекламировал он свою затею.

Может быть с другими у него так бы и получилось, но он ещё не подозревал, с кем он имеет дело в моем лице. Я хорошо помню его первые фразы после того, как он разрешил нам прилечь и занять удобную позу:

– Моя левая рука теплая и невесомая...

Я проснулся, как обычно в восемь часов по местному времени и побежал на зарядку.

Правда, я не сразу понял, как же закончился наш рабочий день вчера и почему я сплю одетый. Появление моих товарищей в столовой и их бурная реакция все объяснила.

Оказывается, после коротенькой лекции с инструкциями по расслаблению, начлаб дал команду вставать. Не встал я один. Решили, что я притворяюсь, долго пытались меня разбудить, а когда поняли, что это бесполезно, начлаб решил, что сон до утра заслуживают все, а не только я один, и рабочая ночь не состоялась.

Надо мной потом долго подтрунивали, но я скромно молчал, и никому не рассказывал о похожей ситуации в студенческом общежитии с «вечными студентами».



# Тоска по любимой

Следующим, что осталось у меня в памяти, а может быть и самым главным по значимости, была тоска по любимой. Со дня нашей свадьбы не прошло и года, и мы, учитывая неустроенность в жилищном плане, все еще были в положении молодоженов. Я буквально рвался домой и использовал для этого любую возможность. Моя молодая жена переживала этот период, возможно, менее болезненно. Ведь для нее почти ничего не изменилось. Недоставало только мужа, к которому она еще не успела, как следует, привыкнуть.

Однажды, когда я оставался в обсерватории один, дожидаясь приезда очередной бригады, на очередном сеансе связи с Москвой мне дали отбой. Это значило, что я могу возвращаться домой. Я еле дождался, когда в Москве начнется утро, позвонил жене и сказал, что в полдень я буду дома. В столице часы показывали шесть утра.

– Ты откуда звонишь? – спросила она.

– Я еще в обсерватории, но через пять минут отправляюсь пешком в Алма-Ату, – ответил я.

– А билет на самолет у тебя есть?

– Еще нет, но я постараюсь его купить прямо в аэропорту. Я сказал абсолютную правду, а она мне не поверила, просто не могла поверить.

Собрать вещи в спортивную сумку было делом одной ми-

нуты. Чтобы предупредить спящего сном праведника Шевченко, потребовалось намного больше времени.

Итак, в следующие несколько дней я был свободен, как птица. И я поступил почти так же. Не став выходить на трассу, все равно вероятность встретить идущую с гор машину практически равнялась нулю, я пролез в щель в заборе на крутом склоне и вприпрыжку пустился бежать вниз.

Нет, недаром я почти каждое утро занимался пробежками по гористой местности. Почти не чувствуя под собой ног, я пробежал первый километр и очутился на уровне озера.

Затем, так же отыскав незаметную тропку, спустился напрямик со следующей горы, затем еще с одной и еще. Где-то на лысом, поросшем зеленой травкой склоне, я встретился с одиноким верблюдом. Он лежал совершенно один на травке-муравке, мордой к тропинке, по которой я пробежал мимо него, и с интересом на меня поглядывал. Я решил впредь быть осторожней и перешел на быстрый шаг. Больше срезать путь не пришлось, потому что я вышел на трассу, ведущую в город. До ближайшей остановки рейсового автобуса оставалось пройти какую-то пару километров.

Я прибыл в аэропорт как раз вовремя. Пристроился к стойке, где проходила регистрация пассажиров, и стал ждать. Когда объявили регистрацию законченной, и в самолете оставалось несколько незаполненных мест, я был первым, кто протянул свой паспорт и деньги.

А еще через несколько часов наш самолет приземлился в

Домодедово. Настенные часы в аэропорту показывали полдень. С опозданием всего на час я позвонил в квартиру тестя в Чертаново, но мне никто не ответил. Я открыл дверь, вошел в квартиру и стал ждать. Спустя какое-то время позвонил на квартиру тещи, мне ответила бабушка жены, но она тоже не знала, где могла быть внучка. Был воскресный день и на работе жены быть не могло. Я совсем извелся, когда уже к вечеру появилась, наконец, Иринка.

Оказывается, она в тот день навещала свою школьную подругу, у которой недавно родилась дочь. А моему утреннему звонку она просто не придавала значения.

Я постарался выкинуть из памяти этот эпизод, и не пускать в свое сознание демона ревности. Тем более, что один пример у меня буквально стоял перед глазами.

В одной из бригад, которые приезжали, а потом уезжали, сделав свое дело в обсерватории, был инженер из соседней лаборатории по фамилии, кажется, Лавренов.

У него была молодая жена, которую он по какой-то причине ревновал. Сослуживцы знали это и всячески над ним подтрунивали. Я был невольным свидетелем одной из таких шуточек. Компания из четырех человек играет в карты. Я сижу за соседним с ними столом и распаиваю очередной разъем.

– Скажи, – как бы невзначай, говорит первый игрок, – а ты берешь с собой домашние тапочки, уезжая в командировку?

– Нет, а ты? – делает вид, что не понимает второй игрок.

– А я всегда беру их с собой!

– Но зачем? – клюет на ловко заброшенную удочку ничего не подозревающий Лавренов.

– Как зачем? – делает большие глаза первый, – придет в мое отсутствие хахаль жены, бац ! А тапочек-то и нет. Вот и придется ему целый вечер ходить с босыми ногами!

– Да, – задумчиво вторит другой игрок, – это ты здорово придумал! А я вот все не мог понять, кто пользуется моими тапочками, когда меня дома нет. Надо будет жену допросить с пристрастием.

– Ну, как же, – вступает третий, – скажет она тебе! Бабы, они знаешь какие? Скажет, что кот нагадил, или еще что-нибудь придумает.

А бедная жертва коварного розыгрыша сидит ни жив, ни мертв, а потом срывается, и бежит в свой домик упаковывать вещи, чтобы завтра первой же машиной отправиться восвояси.

– Ты только про тапочки не забудь уточнить! – уже откровенно смеются ему вслед.

## Любовь с привилегиями

С очередной командой лазерщиков к нам в обсерваторию приехал и совсем молоденький парнишка. Его родители были крутыми начальниками в НИИ, в котором и формировалась эта команда. Поэтому и вел он себя на редкость заносчиво. Кроме того, он был плохо воспитан и к месту, и не к месту сыпал скабрёзными анекдотами и сальностями. Словом, вполне своеобразный тип «маменькиного сынка», который, пользуясь своей безнаказанностью, поступал как капризный ребенок. И внешность его была явно непривлекательной.

Разумеется, я не помню, как звали того паренька. Поэтому, просто стану называть его «Стасиком».

Итак, за неделю пребывания в горах Стасик надоел абсолютно всем. По крайней мере, мне так казалось. И вдруг, Стасик исчез. Вернее, он не то, чтобы абсолютно исчез, просто его не стало слышно. Я даже как-то зашел в комнату к лазерщикам и спросил, куда подевался Стасик.

– А разве ты не знаешь? – вопросом на вопрос ответил кто-то из них.

– Никуда он не делся, а просто переехал в комнату к девчонке – повару. У них, понимаешь, такая любовь!

Вот так номер! А я-то считал, что Стасик не может никому понравиться. Оказалось, что может.

И тут я обратил внимание на то, как преобразилась дев-

чушка – повар. Вернее, она не то, чтобы стала раскрасавицей, но глаза у нее вдруг загорелись, и стало ясно, что это уже не девчонка, а любящая женщина.

И как всякая любящая женщина наша Ниночка принялась опекать Стасика. Она даже в столовую Стасика не пускала, а приносила еду к себе в комнату.

Но в рабочем корпусе он все-таки появлялся, и я обратил внимание, что Стасик тоже кардинально переменялся. Куда только делся его всегдашний апломб и сальности. Голос тихий, вежливый. И глаза. Такие же сияющие, как у Ниночки. Они даже выходили из ее комнаты, держась за руки.

– Ну, прямо детский сад, – услышал я чей-то насмешливый отзыв.

– Ну да, а потом, глядишь, и у них дети будут, – поддержал его другой.

Так продолжалось, по крайней мере, с неделю, которая, наверно, стала одной из самых памятных в их жизни.

И вдруг все для них закончилось. Какой-то «доброжелатель» позвонил высокопоставленным родителям Стасика и сообщил о случившемся с их чадом казусе. Родители, оба, моментально бросили все свои дела и с утра пораньше прилетели к нам в горы. Разразился грандиозный скандал.

Нужно отдать должное Стасику. Он мужественно пытался бороться за свое неожиданное счастье. Но что мог сделать этот, можно сказать, еще неоперившийся птенец, против привыкших командовать родителей?

Ближе к полудню черная «Волга» со всей семьей стремительно унеслась вниз, в Алма-Ату. Ниночка с опухшими от слез глазами молча принесла нам обед, а затем также молча исчезла из обсерватории навсегда.

Вечером я невольно стал свидетелем разговора трех лазерщиков, которые после очередного принятия охладителя, состоявшего из наполовину разбавленного спирта, вели глубокомысленную беседу.

– Жалко девчонку, – сказал один, по все видимости, склонный к сентиментальности.

– Мезальянс, – ответил другой, большой знаток филологии.

Реплики третьего «богатые тоже плачут» я так и не дождался, потому что латиноамериканский сериал с таким названием нам будут показывать еще почти через двадцать лет.

## «Луноход -2»

Незаметно промчалось короткое горное лето. В день рождения моей любимой, 7 августа, в горах выпал первый снег. Он продержался совсем недолго и уже на следующий день растаял прямо у нас на глазах. Но это был знак, что наступит следующая пора года.

Дела у нас, хоть и медленно, но продвигались.

И наступил день, когда начальство отступило от своего правила и в воскресенье назначило, не просто выходной, но и экскурсию на Медео – недавно построенный высокогорный конькобежный комплекс, который, кстати, был достаточно близко от нас. Правда, побывать на Медео в тот раз мне не удалось. Оценить его достоинства я смог только почти через двадцать лет, когда слава его достаточно померкла, а многие достопримечательности обветшали.

А дело было так. Накануне на стойке «лунного гида» нужно было поменять блок питания. Эти блоки были типовыми, и мы заменяли их уже по несколько раз. Но этот блок оказался бракованным. Как потом выяснилось, в нем отсутствовала защита от короткого замыкания. Стоило мне вставить его в нижний паз стойки, как что-то щелкнуло, зашипело, и со стороны внутренней стенки повалил дым. Когда я развернул злосчастную стойку, зрелище было не для слабонервных: вся косичка проводов от первого до последнего блока была



разорвана, бандаж из синей изоленты запекся и сплавился с другими проводами. Моя небрежность была, как говорится, налицо. И хотя меня никто не заставлял оставаться в обсерватории, я принял это решение самостоятельно. С грустью я смотрел на отъезжающий автобус, а потом принялся за исправление своей ошибки.

– Зато в следующий раз буду осмотрительнее, – говорил я себе.

Нет, за время своих командировок я кое-чему успел научиться!

Когда автобус со счастливыми экскурсантами зарулил на станцию, все было готово и «лунный гид» исправно функционировал. Впрочем, на этом инциденте никто из моего начальства внимания не акцентировал, а уж я тем более.

Единственный раз, когда, только приехав, я начал тотчас рваться из Белокаменной, был в разгар первой за много лет засухи и пожаров под Москвой. В неподвижном воздухе стоял удушающий смог: смесь дыма, выхлопных газов от автомобильного транспорта, и отвратительных миазмов жизнедеятельности многомиллионного города.

Я запомнил такой эпизод. В столичное метро заходит девушка в мини юбке по тогдашней моде. Она садится, а когда через несколько остановок уходит, после нее на дерматиновом сиденье остается лужица.

На работе я брал химическую колбу, наливал в нее воды и бросал кусочек сухого льда. Держа запотевшую колбу в ла-

донях, я с некоторым умилением вспоминал горы, где по ночам уже вся трава становилась седой от инея.

Наступил новый, 1973 год.

Советская лунная программа развивалась успешно, и скоро мы узнали, что по пыльной лунной поверхности движется «Луноход -2».

Наконец, наш комплекс заработал устойчиво. Правда, мы по-прежнему постоянно дежурили по ночам, обеспечивая возможность работы астрономов и фотографов, но за то в светлое время, после утренней пробежки и завтрака, я, на правах аборигена, иногда проводил экскурсии для вновь прибывающих новичков.

# Экзамен по диамату

Пятьдесят лет назад я сдавал кандидатский экзамен по философии.

Нам предстояло представить рецензии на книгу заведующего кафедрой философии.

Нам, это группе аспирантов кафедры философии, которых собрал под своим крылом Семен Павлович Алексеев.

Они были давними друзьями, возможно, по учебе в АОН, либо еще по партийной работе, через которую проходили многие советские обществоведы.

В институт своего друга Алексеев перешел после моего института, где к тому времени, по его словам, на кафедре философии сложилась совершенно недопустимая обстановка реакционной нетерпимости и невежества.

Группа состояла из пяти человек, имена и фамилии которых, я разумеется, в большинстве своем не помню, потому что с некоторыми я виделся от силы раз десять на семинарах, а разговаривал и того меньше.

Старшим в группе был Володя Мысливченко. Ко времени экзамена Володя уже оканчивал аспирантуру и даже, по-моему, работал на кафедре ассистентом. Володя Мысливченко был на несколько лет старше меня. Когда я учился на втором курсе, он уже оканчивал институт по специальности, кажется, «обработка древесины». Нас познакомил Алексеев, и мы

довольно быстро с ним сошлись. Нас сближала схожесть наших судеб, по крайней мере, на каком-то их этапе.

Это был красивый парень с правильными, я бы сказал, плакатными чертами лица. Глядя на него сразу можно было сказать, что это человек, безусловно, заслуживающий доверия.

По протекции Алексеева его рекомендовали в философскую аспирантуру института, но сразу после получения диплома его на два года призвали в армию. Он служил офицером, в авиации, в Бобруйске, был очень неуверен в своем будущем, а я в письмах всячески его поддерживал и служил своеобразным соединительным звеном между ним и Алексеевым. Он женился, видимо, еще на младших курсах, потому ко времени его службы в армии у него рос сынишка лет трех или четырех.

Володя, в отличие от меня, окончил институт с красным дипломом и, по-видимому, привык всегда быть первым. Я знаю такую категорию людей. Вопрос, очевидно, стоит так: на что они способны, для того чтобы добиться своего.

Я вспомнил, как однажды мы заспорили: что же считать сущностью человека. Я говорил, что творчество. Он со мной не соглашался. Наконец, в качестве последнего довода я сказал, что это точка зрения Алексеева. Он не поверил и пошел выяснять у шефа, который находился неподалеку. Когда Алексеев подтвердил, Володя почему-то обиделся на меня.

Он был крепок тем умом, который называется здравым

смыслом, но мне кажется, что ему не всегда хватало фантазии. И он еще несколько раз немотивированно на меня обижался. Сейчас я думаю, что он просто ревновал меня к Семену Павловичу. Ревновал, но идеи Алексеева не воспринимал.

Самыми колоритными аспирантами были двое.

Одного, точно, помню, звали Александр. Он был выпускником МГИМО, знал в совершенстве итальянский и даже, кажется, успел послужить при посольстве в Риме. У него было легкое перо, и он знакомил нас со своими работами. Это были очень живые зарисовки об опытах по обучению обезьян. Единственно, что мне казалось не очень понятным, с какого бока здесь была философия.

Второго, кажется, звали Виктор. Он был кадровым военным, служил на ракетном полигоне, во время заправки горючим ракеты глотнул ядовитых испарений, которые сожгли верхушки легких и был комиссован «вчистую». И теперь он продолжал периодически лечиться в госпитале. Виктор был высок и красив, но лицо его было того бледно – голубоватого оттенка, по которому, наверное, в прежние века отличали в людях чахотку.

Как-то раз он произнес фразу, которая надолго мне запомнилась.

– Когда человеку хорошо, слишком даже хорошо, ему непременно хочется сделать так, чтобы было плохо.

В душе его не было мира, и в поисках его он пришел в

философию.

Кроме того, в группе был еще один аспирант, Вадим, любимец Алексеева.

Однажды он сказал о Вадиме так:

– Вадим слишком здоров психически, для того чтобы заниматься наукой.

– Интересно, – подумал я, – он понял это только сейчас, или еще до того, как пригласил его заниматься философией?

И, наконец, я. Из всех ребят только я не был аспирантом, а значился как соискатель, потому что до необходимого и здесь трудового стажа мне не хватало всего нескольких месяцев.

Весь предыдущий год Алексеев занимался с нами тем, что называлось философскими проблемами науки. Сам он тоже читал, как мне кажется, студентам курс «Науковедения». Учеба проходила ни шатко, ни валко. И я вполне в ней успевал. Мы часто обсуждали вопросы, так сказать, на вольную тему.

– Из всех вас, – говорил Алексеев, – писать не умеет никто, разве что немного Мысливченко, а говорить умеет один Кумохин.

– Только не пытайся составить диссертацию из одних афоризмов, которыми ты любишь говорить, – полушутя-полусерьезно предупреждал меня Мысливченко.

Ко времени сдачи экзамена я уже почти два года как был женат, и больше года работал в «почтовом ящике». Меня,

как молодого специалиста, на полную катушку нагружали, поэтому я большую часть времени пребывал в обсерватории в горах близ Алма-Аты. И хотя там работа занимала по 15-18 часов в день, без выходных, я все-таки умудрялся выкраивать время для чтения очередного задания Алексеева: монографии Т. Хилла. «Современные теории познания».

Это было очень увлекательная работа. С карандашом в руках и листками бумаги я старательно анализировал не столько результаты многочисленных буржуазных теорий познания, сколько сам ход мысли каждого из авторов, логику построения и аргументацию их полемики. Меня поразило, что в длинном перечне различных течений в современной философии гносеологии марксизма вообще не нашлось места.

И вот, возвращаюсь к предмету нашего задания.

Судя по перечню опубликованных в интернете работ завкафедрой, это могла быть только монография: «Методологические проблемы современной науки».

Мне досталась первая глава книги, в которой, обычно представляется теоретическое обоснование работы. Следуя своему обычаю читать литературу с карандашом и бумагой в руках, я добросовестно сделал выписки основных мыслей статьи. Затем сопоставил их между собой и проверил, насколько корректно сделаны переходы между основными положениями. Во всяком случае, меня интересовала только логика и последовательность выводов.

Мы сидели за одним столом в кабинете заведующего ка-

федрой. После короткого вступления, Алексеев предоставил слово мне. Я встал и зачитал свои записки, стараясь не отвлекаться на второстепенные вопросы.

Когда я закончил, наступило молчание.

На мой взгляд, в анализе главы из книги заведующего кафедрой философии не было ничего, что могло бы расцениваться как дискредитация его работы.

Тем не менее, реакция маститого философа выглядела довольно странно.

Во-первых, у него, как у школьника, не подготовившего урок, предательски покраснели уши. Во-вторых, он пробормотал нечто вроде, что он не хотел бы видеть меня своим оппонентом. В-третьих, заявил, что всей группе ставит пятерки за экзамен по диамату.

На этом мы и разошлись.



## «Привет участникам...»

Моя последняя в годичном цикле командировка началась несколько необычно. Меня вызвали в кабинет начальства и сообщили важное решение. Мне предстояло в следующий заезд отправляться поездом и везти с собой важный стратегический груз – молочный бидон со спиртом. Вскоре ожидалась реальная работа в обсерватории: нам должны были выделить несколько сеансов связи с "Луноходом -2". В прошлую командировку случилось «чп», двое лазершиков, отправляясь на поезде с таким же бидоном, до конечной станции не доехали – их забрали в больницу с алкогольным отравлением. Других вариантов, кроме как отправки меня, у начальства не было.

– Но почему обязательно я?

– Ты у нас самый малопьющий, – был ответ.

– Хорошо, только дайте мне в помощь еще двух таких же малопьющих, – согласился я.

И вот, нас посадили в купейный вагон прямого поезда, в котором для нас было выкуплено целое купе, загрузили опломбированный для пущей важности бидон, и мы поехали.

На вопрос проводника, что мы везем, я с важным видом отвечал, что это стратегический груз – жидкий канифоль.

Поезд шел долго, несмотря на то, что был скорый – не

меньше трех суток. Каждый день у нас проходил по одной и той же схеме.

С утра я вставал раньше всех, делал зарядку в тамбуре, потом доставал томик Бертрана Рассела «История западной философии» и погружался в чтение. Книга меня захватила. Это было удивительное впечатление: автор не просто анализировал работы давно умерших мудрецов, а как будто беседовал с живыми мудрыми людьми – равный среди равных.

Просыпались мои товарищи. Пока они умывались, я накрывал на стол: закрывшись на щеколду, распечатывал бидон, зачерпывал металлической кружкой изрядную дозу алкоголя, и снова восстанавливал печать предварительно запечатанным штемпелем. Затем мы дружно доставали продукты. Особенным успехом пользовался приготовленный бабушкой моей жены вкуснейший компот, которым было хорошо запивать.

Когда, подозрительно приняхиваясь, заходил проводник, приносивший нам чай, на вопрос, что же все-таки так пахнет, мы каждый раз отвечали одно и то же: стратегический запас жидкой канифоли. И действительно: дух спиртного разносился по всему вагону, преодолевающему пески и барханы по уже начинающей зеленеть пустыне. Вечером я снова брался за книгу и читал уже до тех пор, пока в вагоне не приглушали свет.

Когда поезд остановился на конечной станции и в вагон ворвались истосковавшие после долгой разлуки с завет-

ным бидоном лазершики, мы с отвращением дружно отказались от предложения тут же выпить на посошок.

– Нам бы молочка или кефирчику, а то в горле что-то пересохло, – скромно попросили малопьющие.

Наконец, наступил решающий момент нашей работы. Правда, внешне мало что у нас изменилось. Только стало поменьше народу: часть сотрудников уехала в Крымскую обсерваторию, куда должен был поступать сигнал от «Лунохода – 2». А все остальное было по-прежнему.

Все так же в ночной тиши громко ревел дизель-генератор, проседаая после каждого щелчка лазера. Так же гулко звучали голоса астрономов в металлическом корпусе у телескопа. И так же сидели в своей аппаратной комнате автоматчики – мы с Виктором Петровичем. Наконец, прозвучала команда отбоя, и все потянулись в штаб – дом на сваях.

Там происходило центральное событие всей нашей компании. Телеграф отбивал последние слова телеграммы, которую мы, используя азбуку Морзе – то есть вспышки и паузы лазера – отправили через Луну, то есть аппаратуру "Лунохода-2", потом снова на землю в Крым, а потом к нам: «Привет участникам экспедиции...».

Дружное троекратное «Ура!» прозвучало во внезапно наступившей тишине среди гор.

Несмотря на то, что была уже половина пятого утра, победу было решено отметить немедленно. Спирта у лазерщиков оставалось еще много, а вот закуски практически не бы-

ло. Бросились искать. Нашли пару буханок хлеба в столовой, трехлитровую бутылку вишневого сиропа да большую жестяную банку кильки пряного посола. Выпитая натошак из химической реторты адская смесь спирта пополам с сиропом плохо на меня подействовала, а ужасные кильки только усугубили ситуацию. Я забился под сваи нашего штабного домика, чтобы никто не видел моего позора.

Прошло много лет, но меня каждый раз начинает мутить, когда я вспоминаю вкус вишневого сиропа, сдобренный ароматом пряной кильки.

Было еще несколько сеансов работы с Луной, но они проходили уже не так торжественно. Делали контрольные фотографии, астрономы уточняли параметры. По всем расчетам выходило, что мы определили координаты «Лунохода – 2» с невиданной точностью.

А потом наступила нирвана. Я точно знаю, как это выглядит. Мы сидим на деревянной веранде еще недостроенного дома на небольшой возвышенности прямо за столовой. За круглым столом помещается человек семь-восемь, кто верой и правдой прожил этот год в основном в горах и заслужил эти сладкие минуты отдыха.

Послеполуденное солнце золотой патокой заливает горы. И дерево досок на веранде, и стол, за которым мы сидим, и мы сами жадно впитываем его животворное тепло. Саша Фокин священнодействует. В чалме, сооруженной из вафельного полотенца, он обходит нас и разливает ароматный чай,

рецепт которого знает только он. Мы молчим и наслаждаемся сошедшим в наши души покоем и ощущением духовного лада наших сердец.

И так тихо, торжественно и спокойно.

В институте с большой помпой отметили этот успех. Выписали премии.

Большим начальникам – большие. Простым инженерам, таким, как я – по сто рублей. К сожалению, «Луноход-2» скоро прекратил свое существование, как говорится, ушел «за горизонт».

Необходимость дальнейших командировок в горы просто отпала. А совсем скоро я получил повестку из военкомата.

Меня призывали в армию на два года, офицером.

# Черемуховые холода

Стояли черемуховые холода.

Бывают в средней полосе в самом начале лета такие холодные, пускай и ясные дни, когда кажется, что это не лето на дворе, а самое начало весны. И странно видеть, что все это происходит, когда так волшебным пахнут кипенно-белые гроздья черемухи.

Мы встретились только на платформе «Абрамцево», хотя и добирались на одной и той же электричке. По дороге вспомнили, что Алексееву недавно исполнилось шестьдесят лет.

Самый горячий, Вадик, предложил наломать цветущей черемухи и тут же полез в склонившиеся над оврагом заросли. По дороге он засмутился и сунул свой импровизированный букет в придорожный куст. Вадик был самым добрым из нас, это легко было понять, взглянув на его круглую веснушчатую физиономию. Он оканчивал первый год аспирантуры, но до философии у него просто не доходили руки.

Обычно Алексеев перед официальной частью, расспрашивал каждого из нас о том, что с ним произошло за период между семинарами. Но на этот раз он разговаривал только с Александром. Тот был в командировке в Венеции, и Алексеев несколько, как мне показалось, заискивающе, расспрашивал дипломата о галерее Уффици и о выставленных там

картинах.

В принципе, Алексеева можно было понять. Он просто разделял чувство многих миллионов советских людей, для которых слово «заграница» было желанным, но несбыточным чудом, а люди свободно там бывающие, априори обладали незыблемым авторитетом.

Осознавали это и мы, и тот же Александр, который, несмотря на видимую свою демократичность, не мог не ощущать своего превосходства над нами, простыми смертными.

– Да, я там был, – отвечал он снисходительно на все вопросы нашего руководителя, – да, я это видел.

У меня тоже было, что рассказать, если бы до меня дошла очередь. Работа нашего института, в которой я принимал участие, вот уже больше года, не вылезая из командировок, закончилась полным успехом. И тест, который мы передали из обсерватории под Алма-Атой через советский «Луноход 2» «Привет всем участникам...», свидетельствовал о нашей победе.

И пусть мой вклад в эту работу был более чем скромным, я вместе со всеми переживал чувство гордости. Но очередь до меня в тот день так и не дошла.

Мне было неприятно и досадно видеть человека, которого я уважал, таким приниженным.

А у нас продолжался разговор в одну сторону:

– А Джотто вы видели?

– Да, я его видел.

– А Филиппо Липпи?

– Да, его я тоже видел.

Я чувствовал, как рушится на глазах образ Алексева, который годами создавался у меня в сознании – провидца и чуть ли не небожителя, владеющего истиной в последней инстанции.

И он стал тем, кем в действительности и был: да опытным, да знающим, но просто человеком, способным ошибаться и завидовать, и быть неправым.

Наконец, Алексеев закончил затянувшуюся беседу с нашим дипломатом и перешел к делу. Он объявил, что пора группе проявить себя на практике и для этого каждому из нас будет поручено написать статью в институтский сборник.

Первый вариант статьи должен быть представлен через три месяца. Вероятно, он уже обсуждал темы предстоящей работы с каждым из ребят, поэтому новостью эта информация была только для меня одного.

– Философской основой наших исследований были и остаются «Философско-экономические рукописи» Маркса. Все теоретическое обоснование я беру на себя, – начал Алексеев.

– С одной стороны, – он плавно и немного картинно повел правую руку в сторону, – сущностью человека является творчество. Этот тезис служит теоретической предпосылкой для исследования проблем эстетического – эту тему принимает Виктор – и этического – статью на эту тему напишет



Мысливченко.

– С другой стороны, – он сделал похожий жест левой рукой, – творчество является проявлением основных сущностных сил человека.

Что служит предпосылкой для изучения данных по обучению приматов, как предшественников человека – это тема Александра, и обоснованием для создания теории гуманистической, творческой личности – статью на эту тему предлагается подготовить Кумохину.

Не могу забыть чувства досады, от этого краткого пассажа. Вот так, ни слова не обсудив предварительно, поручать совершенно новую для меня тему, да еще в таком приказном порядке.

Он как будто почувствовал мое недовольство:

– Кумохин, у вас есть какие-то возражения?

– Да, Семен Павлович. Я никогда не занимался проблемой личности, и написать статью в такие короткие сроки...

Алексеев постепенно переходил на повышенные тона и теперь мало что осталось в нем от того невозмутимого олимпийца, которого я знал раньше.

– Ну что же, у вас будет прекрасная возможность проявить себя. Сроки не обсуждаются!

– Что еще, Кумохин?

– Семен Павлович, мне кажется, проблема творчества нуждается в дополнительном философском обосновании. Я, например, с удовольствием занялся бы наследием древних

греков и, в частности Платона, благо прекрасный материал для этого появился в недавно вышедших монографиях Лосева. И потом... Меня несколько смущает еще один вопрос.

– Повторяю, темы статей обсуждению не подлежат, а древних греков вы можете изучать в свое свободное время. Ну, и что это за вопрос, который вас мучает?

– Мы говорим, что сущностью человека является творчество...

– Да, это так.

– Это первый тезис. Второй тезис: творчество является проявлением сущностных сил человека.

– И это верно. Но в чем дело? Что вы пытаетесь доказать?

– Но не кажется ли Вам, что это не два, а всего лишь один тезис, и мы находимся в плену логических противоречий, обосновывая творчество через него же?

– Нет, мне так совершенно не кажется. А для тех, кто не понял философских оснований нашей дальнейшей работы, я повторю еще раз, – закончил он, покраснев, и совсем уже раздраженно.

И он повторил свои тезисы снова, но уже спокойно и рассудительно, как всегда.

Признаюсь, весь этот разговор с Алексеевым произвел на меня тягостное впечатление. Я искал и никак не мог найти сравнения, на что это было похоже, и вот, только теперь, когда через много лет снова переживаю этот эпизод, кажется, нашел. Ну конечно, это было очень похоже на накачку сек-

ретаря райкома на совещании своего нерадивого аппарата. И опять я вдруг вспомнил, как Володя рассказывал, что Алексеев работал секретарем райкома в одном из районов московской области.

Я тогда пропустил это сообщение мимо ушей, а теперь вдруг вспомнил.

Возвращались в Москву мы на одной электричке, но опять не вместе.

Вагон был почти пустой, я сидел у окна, а напротив меня Виктор. Солнце сквозь вагонное стекло пригревало почти по-летнему, и, казалось, лето снова возвращается на бескрайние просторы России. Ехали молча. Признаюсь, я был обескуражен отповедью, которую мне устроил Алексеев, а еще больше тем тоном, которым все было произнесено. Кроме того, я был абсолютно уверен, что я прав, и что логические ошибки, которые я заметил, устранимы. А вот будет ли этим кто заниматься? Большой вопрос.

В какой-то момент молчание нарушил Виктор:

– Ты не переживай так. Жизнь, она все расставит по своим местам.

И посмотрел на меня так проникновенно, как будто мы с ним были не почти ровесниками, а он оказался старше на целую жизнь.

Разумеется, я не подготовил статью о личности через три месяца, как этого требовал мой учитель. В это время я ехал на службу в армию, куда меня призвали по существующему

тогда закону.

Я написал ее через полтора года, в редкие свободные минуты от пребывания на аэродроме в далеком Северном Казахстане, где служил офицером.

# На аэродроме

## В Иркутске

В начале осени 1973 года я несколько дней ехал в поезде в Иркутск, чтобы получить назначение в одну из авиационных частей нашей страны. У меня был попутчик – мой тезка, живущий так же, как и я в Москве в отдаленном районе. Мы познакомились в райвоенкомате, купили билеты в одно купе и решили выбрать для службы одну воинскую часть.

Дежурный офицер, в штабе округа, куда мы прибыли с предписанием, проявил редкую по тем временам демократичность. Он подвел нас к висящей на стене карте СССР и предложил самим выбрать место службы. Я поинтересовался, а из чего можно выбирать.

– Ну, например, есть Украинка, – сказал он.

Меня чуть не соблазнило название, но я, на всякий случай, попросил показать место на карте. Увидев, что указка в его руке потянулась еще дальше на восток, мы дружно попросили еще что-нибудь, поближе к дому.

– Тогда могу предложить Чаган. Он расположен вот здесь, в районе Семипалатинска, в Казахстане. Увидев, что это почти в половину ближе к Москве, чем Иркутск, мы согласились.

Получили новые документы, купили билет на поезд до Семипалатинска, и вот мы стоим на центральной улице столицы Восточной Сибири, возле цистерны с «бархатным» пивом и думаем, чем бы занять себя в оставшиеся несколько часов до отхода поезда.

– У меня есть только один знакомый из пятисот тысяч, живущих в этом городе, – сказал я, и вдруг, увидев знакомую фигуру, продолжил почти без паузы, – да вот, кстати, и он. Идет нам навстречу.

И это, действительно, был Шемякин. Он шел, позванивая бидоном, в стоптанных, надетых на босу ногу тапках к той же самой цистерне, перед которой остановились мы. Я сразу его узнал, хотя мы не виделись, наверное, лет пять. Шемякин почти не изменился. Я привык к тому, что, сравнившись с ним в девятом классе, год за годом перерастал его все заметнее, пока не привык считать его просто маленьким. Все та же жилистая шея с острым кадыком, вечный ежик волос, и только в глазах появилось выражение одновременно злое и заискивающее, как это бывает у людей много и безнадежно пьющих.

После отчисления из университета он учительствовал в каком-то селе и приехал в город в надежде на переэкзаменовку. Обо всем этом я успел узнать в магазине, куда мы зашли с целью закупки спиртного и провизии, и по дороге в квартиру брата, в которой Шемякин временно расположился.

Мы вошли в старый дом, страшно запущенный и грязный. Комната в коммунальной квартире оказалась ему под стать: претензия на артистизм слишком уж откровенно смахивала на нищету. Я отыскал сковороду, запущенную, как и все здесь, долго отмывал ее, почистил картошку и поставил на электроплиту. В ожидании пока картошка поджарится, выпили за встречу.

Пришел брат, представился как художник, непризнанный. – Халтурщик! – с каменным лицом сказал Шемякин.

Брат налил себе, выпил и скоро исчез так же неожиданно, как и появился.

Мы разговорились. Скоро я заметил, что о настоящем Шемякин говорит неохотно, с насмешкой, а школьные годы вспоминает с горячностью, как будто именно они волновали его больше всего. О Емельяненко отозвался неожиданно, считал, что тот предал их дружбу.

– А ведь я его человеком сделал, – сказал он с горечью, – сидел бы у себя в Табурищах и дальше своего носа ничего не видел. Братишка его, тот вон прямо пишет: «Ты, дядя Вова глаза мне на жизнь открыл».

– А сам то я... Да и не нужно мне его признание, он ведь всегда таким был, просто я не распознал его вовремя. Много мы тогда не так понимали.

Он запнулся, посмотрел на меня пристально:

– Помнишь тот случай, когда ты за Танькой Тиховой бежал?

Не отвечая, я потянулся за бутылкой, плеснул ему и себе:  
– Давай выпьем.

Он скривился страдальчески, помолчал, собираясь с мыслями:

– А ведь мы тогда в подъезде стояли. Задрался бы ты с Аниськой, тут бы мы и налетели... Сволочи мы были! Говорил же я тогда: «Зачем пацана своего бить?». Так Емеля первый настоял: «Давай, говорит, проучим, чтоб не задавался!». А, вообще-то, я тебя тогда здорово ненавидел!

Нам пора была уходить. Я видел, как мается мой тезка, которому была явно не по нутру все эта компания и душещипательные разговоры. И я тоже не жаждал их продолжения. Поэтому и не рассказал своему другу, что давным-давно знаю эту его тайну...

Только смутно было у меня на душе, когда мы отъезжали в вагоне от темной пустынной платформы в такую же тьму и неизвестность.



## В Чагане

Служба у меня проходила под Семипалатинском. Посреди пустынной и малолюдной степи.

Я ищу «Чаган» в интернете и нахожу среди страниц фотографии с огромными кучами мусора на месте прежде чистых и аккуратных домиков: мертвый город. Он построен в 1950 и покинут в 1995 году. Вместо бывших десяти-одиннадцати тысяч жителей сейчас там проживает пятьсот человек.

Таилась в той местности еще одна, зловещая тайна. Километрах в ста по течению Иртыша находился центр ядерных испытаний. При нас наземные испытания уже не проводились, но подземные, особенно летом, довольно часто. Тогда после заметных толчков, напоминающих землетрясения, дребезжали оконные стекла и звенела посуда. Летом детей рекомендовали увозить подальше от городка...

Еще в первый месяц своего пребывания в Чагане, подбирая незатейливую мебель для комнаты, к которой нам предстояло прожить два года, я позаботился и о своей, можно сказать, духовной составляющей: приобрел старую, раздолбанную, с несколькими западающими клавишами пишущую машинку «Егіка». Правда, я рассчитывал научиться печатать самостоятельно, но как-то само собой получилось, что эту работу взяла на себя моя женушка. Как и многое другое, что может сделать только любящее сердце.

Я обнаружил, что в библиотеке Дома офицеров по межбиблиотечному абонементу можно выписывать без ограничений книги или пленки с диапозитивами книг из Ленинской библиотеки, и с тех пор стал самым активным пользователем этого сервиса.

После этого я начал планомерную осаду «крепости», как я именовал тему моей статьи «О гуманистической теории личности». Основной задачей, которую я перед собой поставил, был анализ проблемы личности в отечественной литературе и формулировка основных понятий новой модели.

– Главное, научиться самостоятельно мыслить – не раз повторял я слова Алексеева и мысленно вел нескончаемые разговоры с авторами книг, которые мне доставляли по абонементу.

Через год с небольшим я написал, а моя Иринка напечатала статью в полторы сотни страниц, и я с чистой совестью отправил ее Алексееву, надеясь на благоприятный отзыв.

Два года я служил электриком на самолете дальней авиации, знаменитом ТУ-95. Они и сейчас, правда, модифицированные, летают в нашем небе и с успехом выполняют задачи СВО.

И, признаться, сердце у меня ёкает, когда я вижу знакомый, поджарый, как у всякого хищника, силуэт.

Через месяц службы мне дали комнату в двухкомнатной квартире на четвертом этаже типового дома, похожего на дом родителей в Светловодске.

А еще немного погодя я встречал на аэродроме в Семипалатинске свою любимую женушку.

Соседями у нас оказалась симпатичная пара из Воронежа. Жена была заметно беременна, и уже скоро ей предстояло ехать рожать к родителям. А муж умудрился попасть на службу уже во второй раз. Сначала он отслужил срочную, затем получил звание «микромайора» – младшего лейтенанта, и его призвали во второй раз – уже офицером.

Но зато Костя приобрел неоценимые навыки выживаемости. Практически все два года он проходил при штабе в неофициальной должности художника.

Он и мне предложил:

– Если будут спрашивать: имеет ли кто из вас практический опыт монтажа электронных схем – ты соглашайся. В любом случае работа в теплом помещении лучше, чем таскание чехлов на морозе. Я так и сделал.

Но прежде, чем отправиться в штаб полка, меня, как и всех вновь прибывших двухгодичников, распределили по самолетам. Меня назначили электриком на самолет №48. Я как-то не придавал этому факту большого значения, и с чистой совестью принялся оборудовать летный класс.

Для начала мне нужно было расположить по стендам все навигационное оборудование самолета и соединить его проводами. Эта работа мне была хорошо знакома, и мой начальник инженер полка майор Баранов прямо не мог нарадоваться, как быстро продвигается дело. Когда работа была закон-

чена, и летчики могли приступать к обучению, для меня придумали новое задание.

Нужно было сделать макет самолета, моделирующий порядок запуска двигателей и работу шасси. Я чистосердечно признался, что рисовать не умею и мне выделили в напарники еще одного умельца – двухметрового капитана, с огромными ручищами, лет сорока от роду, который почти сразу мне сообщил, что для того, чтобы не идти на самолет, он согласен выполнять любые причуды начальства.

Позже он рассказал причину такого отношения к авиации. Однажды, когда он служил на ТУ-16 в части, расположенной в Белой Церкви, самолет, который он выпустил, попал в грозу, перевернулся прямо над аэродромом и разбился у всех на глазах. Весь технический экипаж потом долго «мурыжили» особисты до тех пор, пока не нашли виновного – метеоролога, который выдал для летчиков неправильный воздушный эшелон.

После этого у моего капитана, тогда еще, кажется, даже лейтенанта, случилась какая-то нервная болезнь, которая, впрочем, проявлялась только на аэродроме. А во всем остальном это был совершенно нормальный человек. Он умел мастерить все, за исключением электрических схем, которых он даже, кажется, побаивался. Одним словом, мы очень даже подходили друг другу.

Пока мой капитан мастерил стенд, обтягивал его тканью и рисовал самолет, я обдумывал из чего же мне делать элек-

трическую схему. Ту-95 был моим ровесником и, разумеется, никаких полупроводников в нем не применялось. Зато Баранов притащил для меня солидную панель с установленной на ней доброй сотней реле. Это был выход: я решил построить всю схему на этих допотопных релюшках. В итоге все получилось очень неплохо.

У нарисованного масляными красками Ту-95 на стенде были сделаны из легкой фанеры лопасти, там, где должны были оканчиваться двигатели. А снизу торчали, очень похожие на настоящие, шасси, для которых наш капитан использовал колеса от игрушечной машинки своего сынишки. Отдельно находилась настоящая приборная панель.

С помощью тумблеров по очереди, как настоящие, запускались, постепенно ускоряясь, двигатели и раскручивались лопасти. Другие тумблеры выпускали и убирали шасси.

## Моя «декабристочка»

Все, что мне предстояло пережить было во много крат тяжелее, не будь ее рядом со мной. Я высоко ценил ее присутствие и постоянное сопереживание тогда, и со временем моя оценка ее самоотверженного служения только повышается.

Все познается в сравнении. Я, можно сказать, был уже достаточно закаленный. За плечами у меня была самостоятельная студенческая жизнь в общежитии и полтора года командировок в горах в обстановке, весьма приближенной к спартанской.

А что у неё, у моей «декабристочки», как стали ее звать на работе? Жизнь у мамы, да еще с бабушкой, которая по доброте душевной и в силу своего неугомонного характера готова была все на свете делать для своих любимых. Короткие вынужденные отлучки в квартире у отца можно было почти не считать. А в своей квартире мы даже не успели как следует обжиться. Меня призвали в армию офицером, и она приехала ко мне, едва я получил комнату в военном городке. И ни родных, и никого из знакомых.

Один только муж. Мы стали привыкать жить семьей. Уезжая за «тридевять земель» моя «декабристочка» не только лишалась работы по специальности, но и вообще почти всякой работы. Даже вакансии на должность учителя русского языка пришлось бы ждать целых десять лет. Оказалось, что

жены летчиков сплошь и рядом были по специальности либо педагоги, либо медики.

Оставалось одно. Учиться вести домашнее хозяйство. Придя домой на следующий день после первой моей покупки, я был впечатлен целой горой новой посуды на столе. Лапушка! Она не учла, что зарплату военным выдают только раз в месяц, и теперь целый месяц мы должны были прожить на то, что осталось после ее покупок. Но зато потом она стала раскладывать деньги по четырем конвертам, чтобы ограничить еженедельные траты.

А овощи? Здесь мы обманулись вдвоем. В один из выходных мы отоварились на импровизированном овощном базарчике парой вилок капусты. И еще удивлялись, почему капусту покупают мешками. Едва она закончилась, мы зашли в овощной магазин, спросить, когда капусту привезут снова. И были впечатлены ответом, что через год.

Но зато на следующий год, мы запаслись и капустой, и морковью, и свеклой. И поместили все овощи в сарайчик, который был у каждого жильца в подвале дома. Правда, в отличие от столицы, в то время в Чагане было полно мяса и различных мясных изделий типа языка, сердца, почек и прочее. И колбасных изделий было в магазине почти столько же, как и сейчас, что вообще было удивительно. Поэтому у Иринки была прекрасная возможность для совершенствования в области кулинарии.

И она ею пользовалась в полной мере. Мои товарищи

«двухгодичники», из тех, чьи супруги предпочли оставаться в первопрестольной, частенько захаживали к нам «на огонек», а на самом деле, чтобы отведать что-либо из ее кулинарных изысканий.

Но ведь она вообще не умеет сидеть без дела, не умела и не хотела, и тогда. Чем только Иринка не занималась в это время! Она и шила и вязала всякие вещи для нас, занималась вышивкой, изготовлением искусственных цветов и гравюрой по дереву, и еще много и много чем.

А вот, когда весной семьдесят пятого она уехала – для меня наступили по-настоящему тяжелые времена.



Итак, все время, пока я оформлял учебный класс, мой «48» был без постоянного электрика. И вот однажды, после проверки дивизионной комиссии на нем обнаружили целую сотню неисправностей.

После обеда прибежал испуганный Баранов и потащил меня на самолет. Здесь, совершенно ошалевший от полученной взбучки, инженер эскадрильи сунул мне лист бумаги с перечнем неисправностей и приказал все устранить сегодня же.

– Пока не сделаешь, домой не уйдешь, – сказал он крайне недовольным тоном, потому что такая же участь ожидала и его самого.

Стоял чудесный зимний день. Против обыкновения, было безветренно и почти тепло – всего каких-то минус двадцать. Вот тут-то мне игодились рукавицы, сшитые по моему заказу любимой. Сверху они были из синего вельвета, а внутри меховые – из старой шапки. Но главное – они соединялись между собой продетой под меховой бушлат тесемкой. Я мог в любой момент сбросить их, выполнить на морозе какую-нибудь тонкую работу, а потом, почти не глядя, снова надеть. В результате такого ноу-хау у меня были всегда теплые и сухие руки.

А в тот день им пришлось, как следует потрудиться. Я на-

бросился на самолет с таким ожесточением, как будто от того, как я справлюсь, зависела вся моя жизнь. Мне и в голову не приходило попросить о помощи или о снисхождении. Неисправностей было много, но они в основном были мелкие: там лампочку заменить, там провод заизолировать.

Осложнял работу мороз, при котором из-за спешки я то и дело до крови рассаживал пальцы. Но тут я решил не церемониться и каждую ссадину просто заматывал синей изолентой. Не прерываясь ни на минуту, я почти закончил работу к половине четвертого ночи. Несмотря на мороз, мне было жарко, и усталости я не чувствовал.

Напоследок инженер выдал мне штырек от рапа – силовой розетки в брюхе самолета – и, глядя на меня с некоторой иронией – он уже почувствовал, что скоро он все-таки будет дома – предупредил:

– Смотри не сорви резьбу. Этот штырь последний. Если что, нужно будет ехать на склад в дивизию.

Можно себе представить, какими словами он меня встретил, когда через пять минут я предъявил ему злополучный штырь: медный, размером с указательный палец, с крупной резьбой, которую я, в крайнем ожесточении, умудрился сорвать.

Потом мы тряслись на дежурной машине на склад, получили нужную запчасть, которую я закрутил уже с соблюдением всех предосторожностей.

Когда я уже под утро вернулся домой, жена, конечно, не

спала. Я в двух словах описал ей происшедшее. Она взглянула на мои руки, которые были сплошь почти коричневыми от запекшейся крови, и с бесформенными сосисками вместо пальцев – не выдержала и тихо заплакала.

Тем не менее, она быстро нагрела воду в тазу, развела марганцовку и велела опустить в розовый раствор обе руки – чтобы не было заражения. На следующее утро в девять часов я со своей эскадрильей отправился на самолет. И в классе, как ни заманивал меня майор Баранов, больше не появлялся.

От своего бывшего напарника-капитана я вскоре узнал, что наш стенд очень понравился высокому начальству и его фотографию даже отправили в Москву в музей авиации.

А для меня началась настоящая служба. Правда, мне не пришлось ловить на себе снисходительные взгляды сослуживцев:

– Мол, что с него взять, двухгодюшник, да у него руки не оттуда растут!

Я – то показал, что руки у меня на своем месте, но это совсем не означало, что испытания для меня закончились.

Прошел день, мы сделали на самолете предварительную, а затем предполетную подготовку и отправили эскадрилью на несколько часов в полет. К вечеру погода испортилась, подул резкий ветер, и после приземления самолетов, нам разрешили их не зачехлять.

Постоянный наземный состав экипажа нашего самолета состоял из трех человек. Старший техник, он же техник по

самолету и двигателям был казах, плосколицый, с заметным животом, который здесь называли не иначе как «блистером», капитан, исполнительный, незлобивый, уравновешенный – настоящих сын степей. Когда над ним подшучивали и спрашивали: зачем он такой блистер отрастил, он отвечал на полном серьезе.

– Так у нас положено. Ведь я же начальник, поэтому мне положен небольшой живот, а если дослужусь до майора, то и живот станет больше.

Техников по самолету и двигателю, называли «помазками». Оттого, что бушлаты у них в силу своей специфики были самые грязные, прямо лоснящиеся от масла. У помазков был не только самый большой объем работы, но и чехлов у них было больше всех: не только на двигателях, но и на плоскости. По паспорту наш старший был Турлумбек, но все его называли Тимохой или Тимкой.

Следующим по засаленности бушлата был техник по вооружению, рыжеволосый Гена, мой ровесник. В его ведении были не только пушки, но и ракета, которую иногда подвешивали под брюхо самолета, а в полете убирали вовнутрь. Его чехол был на корме.

Техник по электрооборудованию самолета, то есть я, отвечал за все электрическое: генераторы, электродвигатели, освещение, и электропроводку. На самолете было проложено десять километров проводов. А мой чехол был на кабине.

Довольно часто к нашему экипажу присоединялись еще

два человека: черный как смоль казах-прапорщик и штурман нашего самолета Юра Цхе. Юра был кореец, он был всегда невозмутим, как говорится, обладал нордическим характером. Происхождение своей фамилии он объяснял так:

– Пуля, ударившись о камень, говорит "Цхе-е!"».

Помощники нам были очень нужны, особенно когда перед предварительной подготовкой нужно было вручную (действовал строгий запрет высокого начальства очищать снег под самолетом с помощью техники) разгрести выпавший за ночь снег на площади пятьдесят на пятьдесят метров.

На каждый самолет приходилось по два комплекта чехлов: зимний и летний. Летний комплект был брезентовым, а зимний, утеплялся подкладкой из толстой байки и весил порядочно. Например, зимний чехол на кабину весил никак не меньше пуда.

И вот, настал момент, когда мне нужно было этот чехол надеть. Сначала я нисколько не беспокоился, решив, что все надевают, и я смогу. Я закинул свернутый чехол на нижнюю часть крыла, подтащил стремянку и забрался сам. Плоскость была длинная, но не гладкая, как могло показаться, а ребристая, равномерно поднимающаяся к корпусу самолета.

За ночь успел выпасть легкий, почти невесомый снежок, который нежнейшим пухом припорошил аэродром и усталые после полетов и, как будто, дремлющие самолеты.

Но мне этот снег сразу не понравился, потому что я несколько раз проскальзывал еще на плоскости, а уж когда я

добрался до корпуса самолета, то и подавно.

Подталкивая перед собой чехол, я на четвереньках добрался почти до кабины. Последний выступ, за который я мог придерживаться, остался позади. А впереди было, как мне показалось, добрых пять метров совершенно гладкой поверхности, напоминающей по форме огромную бочку, но только поднятую на высоту трехэтажного дома. И, в довершение ко всему, присыпанную тончайшим снежком, который, наверняка, сводил коэффициент трения на этой поверхности практически к нулю. Стоит мне сделать одно неловкое движение, и я, точно, шлепнусь о твердую бетонку, которую, кстати, уже успели подмести от выпавшего снега. Я взглянул вниз, и что-то вдавило меня в блестящую поверхность самолета с такой силой, что я не в силах был даже пошевелиться. Это был страх.

Я не могу точно сказать, сколько я лежал так, в обнимку с самолетом, но вывел меня из этого состояния громкий голос нашего старшего техника – Тимки. В переводе с древнерусского слова его означали, что я должен подвинуться и освободить ему дорогу. Оцепенение мигом прошло, сменившись острым чувством стыда за допущенную слабость.

Двигаясь таким же способом – на карачках, но только задом, я отполз на безопасное расстояние и почти с восхищением наблюдал за действиями моего стартера.

А он, быстрым шагом, на прямых ногах, взобрался на корпус самолета, и, топая своими светло-серыми валенками, в

один миг одолел расстояние до моего чехла. Затем пнул его, так, что чехол послушно раскатился по кабине, и повернул обратно. Словно исполняя номер на «бис» Тимка, лихо скатился по наклонной поверхности крыла самолета, перепрыгивая через ребра жесткости, и спрыгнул в сугроб на обочине, оставшийся еще с последнего снегопада.

Я, конечно, понял, в чем заключалась моя ошибка: вместо того, чтобы замирать на месте, мне нужно было быстрее двигаться, и тогда сила инерции поддерживала бы меня, как если бы я ехал на велосипеде. Не сразу, но я тоже приобрел необходимую сноровку, и уже скоро мог зачехлить свою кабину не хуже Тимки.

# Тревога

Не успел я прийти домой после обычного дня и переодеться, как за окном противно загудел сигнал тревоги. Пришлось снова напяливать на себя всю положенную амуницию: нижнее белье, свитер, ватный комбинезон, меховой бушлат, валенки и шапку-ушанку. Рукавицы у меня всегда с собой – болтаются на прочной тесемке, так что их не потерять. Дожевывая последний бутерброд, бросаю жене, чтобы меня не ждала: сейчас около восьми часов, так что все закончится не раньше трех ночи.

В эскадрильской будке рассаживаемся поплотнее, перебрасываемся невеселыми шуточками, мол, давно не виделись. Вроде, все в сборе, поехали. Можно расслабиться и подремать минут двадцать, пока тихоходный газон довезет до стоянки самолетов. Но спать не хочется. Как и у всех, сидящих в машине сознание сосредоточено на очень конкретных мыслях и ощущениях.

Хорошо, что не очень холодно. Привыкнув к здешнему климату, минус тридцать за мороз всерьез не считаешь. В прошлую тревогу, когда было за сорок с сильными порывами ветра, пришлось просить жену заранее сделать из старых шерстяных колготок маску с прорезями для глаз, по-теперешнему – «балаклаву». Правда, пользы от этого приспособления было мало: от влаги маска заиндевила и только раз-



дражала.

Приехали. Теперь и вовсе нужно быть начеку. Ведь все действия по подготовке самолета к вылету нужно провести в темноте. И ладно бы еще темнота, но к ней добавляется сначала треск движков в тепловых пушках: одна, другая, третья – и вот уже весь аэродром ревет чудовищным, постепенно все нарастающим гулом, в котором уже не различишь рокот двигателей твоего самолета, ни даже собственный голос, как бы ты не старался перекричать тысячеголосую армаду.

Как-то во время тревоги на моего приятеля Колю Михеева, стоявшего под самолетом, начал выливаться керосин из переполненного бака. Оказалось, что топливозаправщик все лил и лил керосин и никто не обращал на это внимания. В керосине были какие-то ядовитые присадки и Коля потом долго облезал, как будто пересидел на солнце. И это в конце октября.

Еще более жуткий и в то же время анекдотичный случай произошел несколько лет назад. Как-то я обратил внимание, что за соседним столиком в столовой сразу у двух человек не хватает фаланги на указательных пальцах.

Я спросил у Тимохи, что бы это значило. В ответ послышалось оглушительное ржание всего нашего стола. Оказывается, вот так же ночью, во время тревоги, техник самолета никак не мог определить, работает ли у него тепловая пушка для прогрева двигателя самолета. В результате, он не нашел лучшего способа проверки, как сунуть указательный палец

за кожух, где металлический вентилятор гнал горячий воздух через толстый брезентовый шланг на двигатель.

Разумеется, тут половину пальца ему и отхватило. Что тут было! Чп! Нарушение техники безопасности! Приехало дивизионное начальство. Стало разбираться в причинах. Ответ держал инженер эскадрильи. На прямой вопрос, как все произошло, он дал такой же прямой ответ: тоже сунул свой палец за кожух. Теперь количество пострадавших удвоилось.

Машина-заправщик, заполнявшая топливный бак нашего самолета уехала, и теперь можно было запускать двигатели и с этого борта. Сейчас лучше держаться в сторонке, чтобы не попасть под бешено вращающиеся лопасти.

Проверка закончена, пилоты остаются в кабине, а нам можно обогреться в каптёрке. Здесь уже полно народа. Истово кричат в углу игроки в нарды: «Га-ша!».

Можно немного подремать одним глазом, переминаясь с ноги на ногу, но расслабляться еще рано. Вошедший в каптерку инженер эскадрильи громко командует: «Отбой!». Это для легчиков отбой, а для «технарей» работа продолжается. Когда мы приходим на стоянку самолета, пилотов уже и след простыл, один Юра Цхе терпеливо дожидается. И все начинается в обратной последовательности: слить топливо, зачехлить самолет, выключить освещение, отвезти аккумуляторы на стоянку. Проходит еще часа полтора.

Наконец, рассаживаемся в машину и мы. В летнее время сейчас бы уже светало, а сейчас до рассвета еще далеко. Я

сизу в холодной раскачивающейся на каждом ухабе машине и в полудреме высчитываю, сколько еще «тревог» мне предстоит провести до «дембеля».

Завтра в девять утра мы снова встретимся в этой будке по пути на аэродром.

# Масленица

Была середина зимы, первой нашей с Иринкой зимы в Чагане.

К тому времени я уже втянулся в календарь жизни авиационного техника. Привык к тому, что после единственного выходного в воскресенье наступает понедельник и уже с обеда выглядывал в окно, не кружит ли во дворе вьюга. В этом случае нужно быть готовым к тому, что перед началом работы на самолете наземный экипаж впрягался в огромный совок и разгребал снег до тех пор, пока не освобождался весь периметр самолета.

Зима в Чагане продолжалась полгода, и этой зимы и последующей за ней еще одной – с запасом хватило для того, чтобы светлое чувство, обыкновенно возникающее у человека в снегопад, еще долгие годы было смазано для меня подспудно возникающей тревогой. Кроме снега на аэродроме нас, технарей, донимал мороз.

Коптерка в эскадрилье была крохотная и когда во время кратковременных полетов, в режиме так называемых кругов в нее набивались все техники, половине из нас сидячих мест не хватало. Приходилось стоять по несколько часов кряду, переминаясь с ноги на ногу – ведь никому бы и в голову не пришлось прохладиться на тридцатиградусном морозце да с ветерком, да в глухую зимнюю ночь. А здесь жарко то-

пилась установленная посреди единственной комнаты печь-буржуйка, обогревая стены углового строения кое-как слепленного из кусков фанеры и всякого рода не кондиции.

Днем было значительно веселее, потому что время проходило совершенно незаметно в стандартных процедурах предварительной, а затем предполетной подготовки, расчехления, а потом зачехления самолета, и обязательного прогона двигателей.

Меня особенно затрагивала последняя процедура, потому что в обязанности электрика входило во время прогона стоять, раскинув руки, в метрах десяти перед носом самолета. Это ничего не стоило сделать в теплое время года, но выстоять минут двадцать на морозном ветру разгоряченному после уборки снега и беготни с чехлами, чувствуя, как буквально примерзают к бетонке твои ноги, пусть и обутые в валенки, подшитые несколькими слоями войлока, и вместо струек пота по телу постепенно начинает пробегать холодная дрожь – это дорогого стоило.

В тот день я спешил поскорее вернуться домой. Накануне моя Иринка договорилась с женой еще одного двухгодичника из Москвы, Саши Данилова, служившего в ТЭЧи, куда самолеты отправлялись на плановый ремонт, испечь блины по случаю масленицы. Саша был миниатюрный мальчик и много блинов съесть не мог, но я знал, что к нам наверняка заглянут еще два наших приятеля по службе, проводящих зиму без своих половин в суровой обстановке общежития:

Толик Кубарев и Коля Михеев. Коля был почти двухметрового роста, а Толик ненамного его ниже. Итак, я спешил домой, чтобы оказать посильную помощь хозяевам.

Едва переступив порог, как по первым же интонациям в голосе встречавшей меня жены, в милом фартуке, разгоряченной, с румяными щечками, я понял, что с блинами у нас возникли некоторые проблемы.

Я снял меховой бушлат, стянул валенки, и, как был в ватном комбинезоне, делавшим меня, по крайней мере вдвое толще, чем я был на самом деле, отправился на кухню. Наша соседка, жена Кости, уехала рожать на родину в Воронеж, и теперь он появлялся в квартире крайне редко. На плите горели целых три газовых конфорки, на которых стояли три сковороды с полуфабрикатами блинов. Здесь же, в глубокой тарелке лежали их уже готовые собратья, как бы опровергая пословицу, что первый блин комом. Комом были пока и все остальные.

Я обратил внимание, что газ в конфорках еле теплится, и вместо равномерного синеватого пламени, мелькали какие-то желтые его обрывки.

– Понимаешь, в чем дело, – сказала Иринка, – вот уже несколько дней совсем нет давления газа. Как теперь быть, прямо ума не приложу!

– Это от того, что из-за сильных морозов газ замерз вон в той цистерне, которая вкопана у нас посреди нашей коробки домов, – уверенно заявил я, – а блины печь можно даже в

этих условиях. И я сейчас вам это продемонстрирую.

– Ну-ка, ну-ка, – недоверчиво протянула Иринка, но все – таки надела на меня свой фартук.

Я принялся за дело, хотя до конца уверен в его благополучном исходе не был. Просто я здорово проголодался.

Я оставил гореть одну конфорку и убрал с плиты остальные ненужные сковороды. Огонь под единственной сковородой немного прибавился. Это вселяло хоть какую-то надежду. После этого мазнул по сковороде половинкой картошки, лежащей в блюде с растопленным маслом, как это делала бабушка жены Евгения Михайловна, и плеснул из половника, на сковороду немного жидкого теста.

Сковорода бодро шикнула, и я почувствовал, что у меня все получается. Жена протянула мне лопаточку, но я решил блеснуть мастерством и ловко перевернул свой первый блин одним движением сковороды. Готово!

Я плеснул на сковороду новую порцию теста, но вместо бодрого шика, посуда ответила мне каким-то жалобным шипением.

Я почувствовал, что пора заканчивать мой эксперимент.

– Ну, ладно, дальше можете продолжать в том же духе, – бодро заявил я и передал жене лопаточку.

Мой обман открылся, когда второй блин опять не захотел отставать от сковороды. Но дело было сделано.

А блины они, все-таки, напекли на всех.

Нужно было только каждый раз дожидаться, чтобы сковоро-

рода была достаточно нагрета.



# Летнее утро

## Из дневника

Утром, проснувшись, я слушаю шум падающей воды – множества фонтанчиков, бьющих из отверстий в трубах, которые в видимом беспорядке проложены здесь вдоль домов и аллей. С этими струйками воды в самую жару любят играть малыши – дети офицеров дивизии дальней авиации, расквартированной здесь, в небольшом военном городке посреди выжженной солнцем казахской степи.

Они ловят тяжелые теплые капли и умывают ими свои серьезные рожицы. Насытившаяся влагой за короткую летнюю ночь земля собирает маленькие лужицы на земле и на асфальте, которые мне приходится перешагивать по пути на автобусную остановку.

У здешнего транспорта один маршрут: на аэродром и обратно. Кроме автобусов, по большей части дышащих «на ладан», страшно дребезжащих и обшарпанных, на остановку приходят несколько «будок» – крытых брезентом грузовых автомобилей.

– Я стараюсь в них не садиться. Мне становится как-то не по себе среди сидящих в полутьме и тесноте людей, с переплетенными коленями или с прижатыми друг к другу спинами. В автобусе, если посчастливится, можно сесть к окну и сделать вид, что ты читаешь или смотришь сквозь запылен-

ное стекло.

В степи.

На степь смотреть все еще интересно. Она удивительна своей причастностью к зеленому цвету даже сейчас, в конце июня. Холодная весна и два-три дождя в июне продлили жизнь растений. Можно заметить строгую последовательность в цветении и созревании трав. С ранней весны, вместе с первыми стрелками травы, которую поначалу и не заметишь внутри жестких скелетов прошлогодних стеблей, появляются на солнцепеке желтые коротышки куриной слепоты. Затем – крупные, мохнато-лиловые с желтым крестом тычинок – подснежники. Немного погодя – кустиками по пять-шесть стеблей, иногда совсем не к месту, на самой тропинке, расцветают ирисы. Их сменяет цветение ковыля: стелются на ветру белые гривы неведомых коней в волнах цветущей и звучащей зелени.

Это середина весны. Издали кажется – сплошная стена травы. Выскочил как-то в такую пору из самолета молодой летчик, прилетевший в командировку:

– Красота-то какая! А говорили – здесь ничего не растет!

И с разбега – прыг на этот зеленый ковер. Поднялся изрядно исцарапанный и смущенный. Между каждым зеленым кустом плешины серого песка и гравия – зона полупустыни все-таки.

Незаметно, после горячих ветров исчезают мягкие волокна в стеблях ковыля, и они обретают аскетическую строгость

оперенной стрелы.

Цветет перекасти-поле. Сладкий аромат множества мельчайших цветков – сентиментальное белое облачко. А осенью, с поземкой, катятся их мертвые скелеты, прыгают через камни, забиваются под доски фундамента в каптерке – холодно, гулко.

Следом расцветают желтые соцветия, похожие на ветки мимозы. Каждое облеплено десятками жужжащих мух и бабочек.

И, наконец, поднимается высоко на гибком упругом стебле и раскрывает малиновый султан лепестков – чертополох.

# Лимоновка

Однажды по городку пронесся слух, что к нам из Семипалатинска завезли необычный алкогольный напиток: дешевый – три рубля двадцать копеек за литр, крепостью семьдесят градусов и продают его из цистерны, какими обычно торгуют квасом, прямо напротив Дома офицеров.

Дело было в начале осени в воскресенье, ближе к обеду.

Сначала покупателей было немного. Народ просто не до конца поверил в открывающиеся перспективы неожиданной халявы. Поэтому к цистерне подходили не спеша, в домашних тапочках на босу ногу, степенно позвякивая молочными бидонами, банками в нитяных авоськах и прочей посудой.

Оказалось, что молва не подвела. Из кондитерской фабрики Семипалатинска на реализацию привезли лимонную эссенцию, предназначенную для пропитки кондитерских изделий: тортов и ромовых баб.

Для начала решили попробовать и покупали по литру-полтора ароматного напитка. В бидоны щедро лилась зеленоватая жидкость, и сомнения скептиков таяли от одного только ее запаха.

Первые покупатели отправились на дегустацию и перед цистерной наступило затишье. Только кивала головой в белой косынке продавщица – толстая казашка средних лет.

Мы с женой проходили в это время мимо Дома офицеров,

возвращаясь после полуденной прогулки. И не могли нарадоваться установившейся погодой и температурой. Я обратил внимание на цистерну, подошел, прочел листок со странной ценой и решил после возвращения домой, вернуться сюда со стеклянной тарой.

Но, когда я буквально через десять минут снова подошел к цистерне – здесь уже бушевала толпа. Распробовали! Я пожал плечами и вернулся домой, нисколько не жалея об упущенной возможности.

Да, я был готов отстоять очередь за свежими овощами: капустой или морковью, которые, как мы знали по прошлогоднему опыту привозили в городок только раз в год. Но стоять в очереди за пойлом сомнительного происхождения, пусть даже по бросовой цене – слуга покорный.

А между тем, народ разошелся: лимоновкой затоваривались всерьез, надолго, как будто предстояли годы неурожая. Я обратил внимание как кто-то, не имея свободной посуды требовал налить ему ароматного зелья в обычный чайник.

Осеннее солнышко еще не успело склониться к закату, а цистерна уже опустела, ее подцепил стоявший в тени грузовичок и увез восвояси.

Не знаю, как выглядел в понедельник на построении летный состав, а на технический было больно смотреть.

Больше в городок лимоновку не привозили.

## "Извините, не заметил"

Заканчивался первый год моей службы в армии. Нам уже успели присвоить очередные воинские звания – старших лейтенантов. Я считал, что вполне освоился в здешних условиях, и больше никаких непредвиденных обстоятельств ожидать не стоит.

Стоял чудесный теплый денек, какие бывают здесь в самом начале осени, когда жара уже не донимает с самого утра, а стоит ровная погожая пора, которая может продолжаться здесь еще долго, пока не закончится резкой сменой погоды, после чего почти сразу наступит зима.

Мы шли вдвоем с Толей Кубаревым, таким же, как и я «двухгодушником», по единственной центральной улочке военного городка, идущей от Дома офицеров до остановки автобусов.

Я отправлялся на службу – через пару часов нашей второй эскадрилье предстояли полеты, а Толик, как техник по радиооборудованию, не входивший в состав наземных экипажей, был в этот день свободен.

Толик, красивый, высокий парень, обладал легким характером и мог быть приятным собеседником. Вот и сейчас он что-то оживленно мне рассказывал, а я посмеивался его общению.

Мимо нас прошло два или три офицера. Я мельком взгля-

нул на их погоны. Ага – у всех по одной звезде, значит, можно не козырять. Я уже привык к неписаному правилу, царившему в нашем городке: отдавать честь требовали только штабные и то только в должности подполковника, но таких в дивизии было мало, а полковник был только один – командир дивизии, «джигит», как его за глаза называли, имея в виду кавказское происхождение, так что я, кажется, ничего не нарушил.

Однако один из офицеров был со мной не согласен:

– Товарищ офицер, – услышал я голос, – вы почему не отдаете честь старшему по званию?

Я посмотрел по сторонам, но никого кроме нас с Толиком, к кому могло относиться это замечание, поблизости не было. Толик был в штатском, а на мне был синий комбинезон и воинская фуражка – значит это ко мне. Я повернулся, отдал честь и произнес:

– Извините, товарищ майор, не заметил.

– Что?! Какой майор? И вообще, кто вы такой?

И тут я с ужасом увидел, что звезда у недовольного «майора» была действительно одна – но большая! И погон был без просветов – генеральский.

Вот так влип. И тут я вспомнил, что нашему комдиву совсем недавно присвоили генеральское звание.

Я решил быть честным:

– Старший лейтенант второго полка Кумохин. Следую на аэродром для проведения полетов, – и добавил, – да «двух-

годушник» я, товарищ генерал.

– А, двухгодушник, так бы и сказал, – произнес комдив уже смягчаясь,

– идите!

Я неловко повернулся.

– Стойте, через какое плечо вы поворачиваетесь?

Я возвратился в исходное положение. Приложил руку к фуражке.

– Ладно, идите!

Во время всей этой сцены Толик молча стоял в сторонке, а затем тихонько юркнул в соседнее здание – офицерское общежитие.

Я же, ни с кем больше не встречаясь и не разговаривая, дошел до остановки, молча сел в автобус, который тотчас же тронулся, и минут через двадцать прибыл к нашей эскадрилье, где уже стояли офицеры, готовясь к построению.

Меня встретили как какую-то кинозвезду.

– Ну, Кумохин – хлопнул меня по плечу мой старший техник Тимоха, – расскажи, как ты генерала майором обозвал?

Просто ума не приложу, как они обо всем узнали? И, главное, так быстро.



# Чубчик

Ну, а в последний раз стать предметом внимания всей эскадрильи мне довелось уже в последнюю весну моей службы в авиации.

Весна в том году в казахской степи выдалась поздняя и холодная. Хмурые тучи заходили то с одной, то с другой стороны, и без устали утюжили стылую землю косыми дождями.

Зато отзываясь на это своеобразное приветствие, буйно разрослись всевозможные травы, которые в обычную пору должны были уже пасть под испепеляющими лучами солнца.

Такая погода отнюдь не придавала мне бодрости, потому, что я в очередной раз остался в одиночестве: Иринка, как и большинство жен моих товарищей – двухгодичников – уехала в Москву устраиваться на работу по специальности, чего она, естественно, не могла сделать здесь, в крохотном городке в далекой степи.

Столица встретила ее необычным теплом. Она писала, что в конце апреля расцветают вишни у нас под окнами двухкомнатной квартирki на первом этаже «хрущевской» пятиэтажки.

Я решил не сдаваться подступающей хандре и для начала привести в порядок свою буйную шевелюру, которая успела значительно отрасти со времени отъезда жены. Дело в том, что уход за моими волосами добровольно на себя взяла моя

женушка, и тогда, в армии, и после возвращения из нее.

В то время даже профессиональные парикмахеры предпочитали пользоваться нехитрым приспособлением в виде расчески, состоящей из двух половинок, между которыми зажималось лезвие безопасной бритвы.

Я решил, что смогу без труда срезать часть волос за ушами и на затылке, где они особенно разрослись эдакими легкомысленными завитушками.

Недолго думая, я смочил волосы, обмотал шею простынкой, как это обычно делала Иринка, и, стоя перед единственным зеркалом в шкафу, провел расческой по левой половине волос, потом по правой. Повторив процедуру, начал сравнивать результат. Мне показалось, что слева волос оказалось больше, чем справа. Я подрезал слева. Теперь выходило, что нужно подкорректировать с правой стороны.

Задним числом я понимаю, что происходящее сильно напоминало известную сказку о хитрой лисице и двух глупых медвежатах, которым она взялась разделить поровну на двоих одну головку сыра. Только в моем случае я был и лисицей, и глупыми медвежатами, и, заодно, самой головкой сыра.

Думаю, прошло уже часа полтора, когда ко мне в дверь позвонил мой тезка, с которым мы ехали в эти казахстанские дали уже почти два года назад.

Тезка, как и я, отправил жену с маленькой дочкой в Москву и теперь маялся в свободное время, совершенно не представляя, чем себя занять.

При виде меня, вернее моей головы, обычно сдержанный Гена неприлично заржал и предложил, пока не поздно отправиться в парикмахерскую.

Но это был слишком простой вариант и мне он, безусловно, не подходил. Выбрали более сложный. Еще час над моей головой колдовал тезка, после чего в порыве откровенности предложил мне прическу под «ноль». Но я наотрез отказался от этой заманчивой перспективы, которая «светила» мне уже во второй раз в жизни. Сошлись на чубчике, который получался из остатков волос, еще сохранившихся на буйной моей головушке.

А на утро, на построении эскадрильи, наш замполит «Колокольчик» велел мне выйти из строя и снять шапку.

При виде моего крохотного чубчика на почти лысой голове народ дружно заржал.

А «Колокольчик» и не думал шутить.

Он разразился пространной речью о моральном облике советского офицера. И о том примере, который подает своим внешним видом «двухгодушник», то есть я, некоторым кадровым офицерам, чей вид, подчас, позорит их высокое звание.

Словом, нес свою обычную словесную чепуху, за что, собственно, и заслужил свое прозвище

## Конец двойной жизни

Я случайно оказался в Москве буквально за пару месяцев до демобилизации. Отпуск был мне уже не положен, но жену, которая вернулась в Москву еще ранней весной, посетила счастливая мысль: прислать телеграмму о якобы ее болезни. Меня отпустили на недельку. Ах, как чудесна была встреча в нашей собственной, едва обставленной квартирке.

Я договорился о встрече с Алексеевым, а пришел Мысливченко. За прошедшие два года он почти совсем не изменился, только выглядеть стал солиднее, что ли, и в голосе прибавилось уверенности. Теперь это был уже не тот Володя, который когда-то сомневался и просил у меня совета, стоит ли ему и дальше заниматься философией.

Это был совсем другой Мысливченко, который уже не сомневался, вынося мне приговор. Мы сидели в соседнем с институтскими корпусами сквере, за неимением свободной лавочки прямо на шершавом каменном парапете. Он пришел по поручению Алексеева для того, чтобы сообщить важную информацию. Какую? Он немного картинно жестикулировал, плавно поводя руками то в одну, то в другую сторону, совсем как его шеф.

Во-первых, год назад ликвидировали философские аспирантуры в технических вузах страны. Официальная формулировка: в связи с низкой эффективностью.

Во-вторых, наши обязательства – он так и сказал «наши», имея в виду обещания Алексеева способствовать моему поступлению в философскую аспирантуру – следует считать невыполнимыми ввиду чрезвычайных обстоятельств. Поэтому мне придется самостоятельно искать возможности продолжать философскую практику.

И все. И ни слова о том, почему мне за целый год никто не сообщил о ликвидации аспирантуры. И ни полслова о моей статье, которую я полгода назад прислал Алексееву заказной бандеролью. Статья называлась «О гуманистической теории личности», точно так, как требовал Алексей, и насчитывала сто пятьдесят страниц печатного текста и полтора года моего труда в не самых, скажем так, благоприятных условиях службы в армии.

И вот сидит на нагретом солнцем теплом каменном парапете этот человек, который раньше назывался моим другом, с важным видом разводит руками, и даже не делает вида, что сочувствует мне. Он явно может быть доволен. Он официально выражает мнение шефа, указывая мне на дверь. Больше говорить нам было не о чем, и мы холодно простились.

## Ненужные встречи

Как всегда, стоя перед этой, обитой черным дерматином дверью, с табличкой, указывающей фамилии жильцов, я почувствовал легкое волнение.

После звонка послышались шаркающие шаги, за дверь посмотрели в глазок, и послышался женский голос:

– Сеня, это к тебе.

И вот уже Семен Павлович стоял у входа и протягивал руку:

– А, Гена, ну проходи.

Мне выдали гостевые тапочки на три размера больше моей ноги и, поневоле шаркая, я прошел в кабинет. Алексей уже успел занять свое кресло за двух тумбовым письменным столом, предложив мне, тоже как обычно, стул, почти прижатый к торцу стола. Я помнил, что надо быть осторожным, чтобы не выдавить забитую книгами застекленную полку, проходящую по всей длине стола.

Книги были и в достигающих потолка книжных шкафах по обе стены небольшой комнаты в малогабаритной трешке типового панельного дома, в которой жил Семен Павлович. На столе лежал набор фломастеров и две стопки мелко нарезанной бумаги. Одна была чистая, а другая исписана знакомым почерком. Я успел прочесть вопрос на верхнем листке:

– Нужен ли ученому дар перевоплощения?

И ответ:

– Нет, не нужен.

Семен Павлович переложил листок в другую стопочку, находящуюся поодаль от меня и наступила неловкая пауза.

Наконец, Алексеев прервал ее, и стал говорить с расстановкой:

– Знаешь, Гена, я должен сообщить новость, очень неприятную для всех нас. Впрочем, ты частично о ней уже знаешь. По решению комиссии министерства Высшего образования закрыта аспирантура в нашем институте. Понимаешь, приема больше не будет. Мы знали, насколько тяжело для тебя это известие и долго не решались о нем сообщить.

Я видел по лицу Алексеева насколько неприятно было ему это произносить. Однако мне было не легче, поэтому я смог выдать из себя только:

– Да, это, действительно, неприятно.

Видя, что моя реакция оказалась довольно сдержанной, Алексеев продолжал уже с некоторым чувством облегчения.

– Да, ситуация тяжелая, но никуда от этого не уйдешь. Нужно трезво обсудить создавшееся положение. Существуют, по крайней мере, три возможности.

Я смотрел на Алексеева, говорившего, как обычно, умно и уверенно, но смысл его слов доходил до меня с опозданием, как будто мы не сидели рядом друг с другом, а нас разделяло огромное расстояние, и необходимо было время, для того, чтобы звук успел это расстояние преодолеть.

Первая. Работать над прежней темой, но поступать в другую аспирантуру, в институт философии, например. Однако наша точка зрения еще не является общепризнанной, и она не пройдет в качестве темы будущей диссертации...

Вторая. Поступать в другую аспирантуру и выбрать другую тему, – но тогда, он, Алексеев, навряд ли будет в силах мне в чем-то помочь.

И третья. Оставить все на своих местах. Работать над диссертацией в свободное время. Ведь для того, чтобы защититься, вовсе и не обязательно заканчивать аспирантуру. И он уверен, что при моих способностях это получится даже быстрее...

– Ну, да, – горько подумал я, – и где же мне тогда защищаться прикажете?

Но вслух я так ничего не сказал.

Под конец Алексеев начал даже воодушевляться, но быстро оборвал себя. Слишком быстро, для того чтобы этот монолог был чистосердечным.

Раздался спасительный звонок, и, против обыкновения, Алексеев сам отправился открывать.

– А на штанах у него прореха, – с каким-то горьким удивлением подумал я.

«Нужен ли ученому дар перевоплощения? Нет, не нужен».

А что же дальше там было написано?

Пришел Володя Мысливченко, с которым я виделся все-



го несколько дней назад. Он нисколько не удивился, застав меня у Алексеева.

– Извините, я, наверное, помешал вам?

– Нет, ничего, мы, собственно, почти закончили.

«Разве? А я и не знал, что разговор со мной уже закончен.

Хотя, очевидно, предложить мне он больше ничего не может. Или не хочет?».

Я стал вслушиваться в их разговор. Мысливченко жаловался на заведующего кафедрой, который в плане работы семинара ввел слишком много часов по истмату, оставив для диамата совсем мало времени. Семен Павлович тоже многословно возмущался.

А я вдруг очень ясно осознал, что мне уже никогда больше не участвовать в этих спорах, и совершенно лишним было это, последнее свидание с моим Учителем, теперь уже бывшим учителем.

Я понял так отчетливо, как будто кто-то мне на ухо нашептывал его мысли.

Все рушится, и замыслы о своем направлении, и своей школе. Теперь уже не с кем ему быть, а, возможно еще и не с чем. И он охладел к своему делу, и к тем, кому благоволил. Он вовсе не собирался нарочно причинить мне зло, просто так вышло. Не все ли теперь равно?

Вот потому то и записал он на последнем листке перед моим приходом:

«Нужен ли ученому дар перевоплощения? Нет, не ну-

жен».

И больше ничего там не было.

Погруженный в свою печаль, я упустил нить разговора, который происходил между Алексеевым и Мысливченко. И они, как будто не желая свидетелей, разговаривали приглушенно, вполголоса, так, что до меня доносились обрывки фраз.

Вот, что говорил Алексеев:

– Мы с тобой закончили разговаривать как руководитель с учеником, неофициально. Теперь, будь добр, представь отчет – уже официально. А дальше можешь делать, что хочешь, можешь не соглашаться со мной – и я тебе тогда уже не советчик...

От Алексеева мы вышли вместе с Мысливченко. Он больше не разыгрывал из себя официального представителя, и с ним было проще разговаривать. Я тоже постепенно избавлялся гнетущего настроения, я даже какой-то сентиментальный порыв почувствовал, мол, вы тут остаетесь, а я ухожу.

– Как у тебя дела с диссертацией? – спросил я у Володи.

– А никак, – ответил он, – то, что предлагает Семен Павлович, я взять не могу, а самому придумать что-нибудь стоящее, сил не хватает. Ты знаешь, что в нашем положении самое скверное? – что ни говори, а много было у нас Володей общего.

– Ведь есть же и сейчас в философии много тем, как говорится, целины. Взять бы такую, и работать потихоньку над

диссертацией. А выйдя на широкую дорогу, можно и за тему «человека» браться. Взять хотя бы нашего «дипломата». Алексеев пристроил его в институт социологии, там с радостью ухватились за человека в совершенстве знающего итальянский и сейчас он уже на предзащиту выходит.

– А все-таки, зря ты не хочешь тянуть с Алексеевым в одной упряжке. Мне его позиция всегда нравилась, хотя бы чисто по-человечески.

– Ну, так что же тебе мешает?

– Э, нет, – я невесело рассмеялся, – рад бы в рай, да грехи не пускают. Но мне, действительно, всегда нравилась позиция Алексева, потому, что она изначально добрая, гуманная, если угодно. В каждой теории, тем более в философской, существует исходная предпосылка, принципиально не сводимая к уровню существующих знаний. Так вот, в понимании «человека» Алексеевым – это вера в то, что развитая личность может быть только творческой и гуманной. Но есть в этой позиции и слабые места. Это, на мой взгляд, излишняя эстетизация человека. Выходит, что если личность творческая, то она обязательно должна быть эстетически и этически развитой. И наоборот. Все это хорошо, красиво, пожалуй, чересчур красиво, для того, чтобы быть верным. От этого взгляда за версту попахивает эдаким утопическим прекраснотушием.

– Вот, вот, – согласился со мной Володя, – я то же самое твержу об этом Алексееву.

– Понимаешь, я тебе не для того это сейчас говорю, чтобы критиковать задним числом. Эти идеи стали настолько моими, что они мне, кажется, даже в состав крови вошли. Но теперь я думаю: а вдруг я ошибаюсь, и вообще это не законы развития личности, то есть не то, как будет развиваться, пусть даже в отдаленном будущем каждый человек, а особенности формирования единиц, пусть гениев, но все-таки не многих из людей? Впрочем, что это я разболтался сегодня? На службе в армии я давно уже так много ни с кем не говорил.

– Да, было от чего, – сказал Мысливченко, – мы, когда узнали, что аспирантуру закрывают, переживали за тебя и даже написать никак не решались.

– А мне то, разве лучше от этого стало? – подумал я, – Только я еще полгода вкалывал, как раб на галерах, а они ... не решались.

Остаток дороги мы проехали молча. В Мытищах я зачем-то вышел на платформу, спросил, чувствуя, как вместе с приятелем оставляют меня остатка бодрости:

– Володя, у меня остается еще несколько дней отпуска, может быть, встретимся еще раз? Ты позвони мне.

– Может быть, – ответил он, уже садясь в подошедшую электричку на Болшево, и думая уже о чем-то другом, – я позвоню. Но он так и не позвонил.

Придя домой, я кратко обрисовал ситуацию жене. Было странно, что она даже не очень удивилась, как будто предчувствовала что-то подобное.

Потом была грусть по поводу предстоящей разлуки, а через пару месяцев уже окончательное возвращение домой, и радость от известия, что мы ждем ребенка и новые хлопоты.

Жизнь закружилась, завертелась, и в ней уже совсем не осталось места для размышлений о творчестве и о сущности человека.

# Последние дни в армии

На службе больших изменений не было, да и не могло, кажется быть. И только один вопрос беспокоил нас, заканчивающих служить «двухгодичников». Как бы не вышел приказ о продлении нашей службы на всю катушку – двадцать пять «календарей». Это было по-настоящему грустно, но все надеялись на лучшее.

Все свободное время я теперь проводил на реке. Иртыш в среднем своем течении был не широкой, но быстрой и своеправной рекой. Я вдруг почувствовал, как некогда в юности, неодолимое к ней влечение, и, как больное животное, непроизвольно тянулся к воде, залечивающей мои раны.

Я даже не пытался удить рыбу, хотя удочка, помнится, у меня была. Я оставлял одежду где-нибудь на пляже и отправлялся в путешествие, как когда-то в далекой уже юности, только не на своей плоскодонке, а вплавь.

Я сплавлялся на несколько километров, бездумно отдаваясь быстрому течению, а иногда заплывал на другую сторону реки и переходил через остров в тихую протоку, и уже оттуда начинал заплыв.

Я научился подолгу держаться на воде и испытывать к ней доверие, как молчаливому, но, безусловно, живому существу. Я изучил все особенности русла и причуды течения километров на пять вокруг и пользовался этим для эконо-

мии сил.

Вот, например, мель напротив городского пляжа. Течение здесь обманчиво спокойное. И только возле острова, на стержне, вода несется как необъезженный жеребец. Здесь хорошо задержать дыхание и, почти неподвижно лежа на нагретой поверхности, проноситься мимо светло-зеленых осокорей и кустов тальника.

Временами я испытывал детскую зависть к роившимся в нависших над водой кустах синим и зеленым стрекозам, которые, как недавно я выяснил, опять-таки через интернет, по-научному называются «Блестящая Красотка». Как бы я хотел вот так же бездумно перелетать от травинки в травинке и не думать ни о чем из прошлого.

А потом течение круто поворачивает и уходит дальше от городка. Поэтому к стоящей за пляжем пристани легко завернуть катеру на воздушных крыльях, но очень трудно пловцу. И напрасно он будет тратить силы, стараясь поскорее выбраться на берег. На самом деле нужно просто набраться немного терпения, потому что еще через поворот, течение само доставит тебя к нужному берегу и почти выкинет под крутой берег с разводами сине-зеленой глины.

Однажды, вернувшись на пляж, я обнаружил, что моя одежда исчезла. Кто-то позарился на сшитые Иринкой еще до армии вельветовые брюки и приталенную рубашку в мелкий цветочек. Пришлось в плавках идти домой, благо, он располагался в ближнем к берегу ряду домов.

Как-то раз, переплыв через основную часть русла реки, я выбрался на один из островов. Перебравшись через завалы поваленных сухих деревьев, оказался на небольшом лугу с редким для здешней природы разнотравьем. Особенно поразили меня крупные, в метр высотой ярко-синие соцветия диких дельфиниумов. Я не удержался и сорвал несколько штук. Теперь, чтобы сохранить эти цветы, мне предстояло проделать обратный путь через реку на спине. Не без труда перебравшись на другую сторону, я принес чудесный букет домой и поставил в трехлитровую банку на кухне, горько сожалея, что не могу подарить эти цветы своей милой женушке.

Среди пожелтевших разнокалиберных листочков с моими записями, которые Иринка сохранила, совершенно не ведая, что в один прекрасный день они мне вдруг понадобятся, оказались и мои письма, которые я посылал ей едва ли не через день, начиная с апреля и по конец августа 1975 года, с коротким перерывом на время моего краткосрочного отпуска в Москву. Одно письмо я бы выделил особо, в нем я стараюсь дать развернутый ответ, по-видимому, на ее упрек в том, не слишком ли поспешно отказываюсь я от занятий философией. Поскольку я не отличался такой же аккуратностью, как моя жена, ее письма ко мне не сохранились, поэтому я не могу сказать точно, в какой форме прозвучал этот упрек.

А ответ передо мной



# Письмо из Чагана

27.06.75

«Здравствуй, моя любимая.

Теперь я попытаюсь ответить тебе на твой упрек в кажущейся моей непоследовательности. Я уже переболел тот период о время которого мог поступать и думать в силу обиды, запальчивости и т.д. Поверь, я много раздумывал над ситуацией, в которой оказался и над своим решением и его внезапностью (повторяю, кажущейся) ...

К сожалению, многое в нашей жизни зависит не только от нашего желания и не может быть изменено только нашими усилиями. Что же делать, когда окажешься в ситуации изменить которую ты не можешь? Что значит остаться собой? Мне кажется, нужно трезво оценить обстановку...

Неудача с аспирантурой означает для меня крушение философской академической карьеры...

Что же это? Конец всему? Конец, но только карьере, но не конец в работе над темой, не конец размышлениям над тем, что такое человек, в чем его призвание и смысл жизни.

Послушай: я возьму свою тему и вынесу ее в жизнь из искусственной постройки, какой всегда будет философия. Я изменю лишь форме: псевдологическим построениям, но останусь верным основному. Теме, идее потому что, что бы я не писал, я всегда буду думать над тем каким должен быть

человек...

Больше того, как только я научусь писать, первая моя большая вещь будет посвящена вот этой ситуации: как остаться собой, что есть человеческого в нас? Не обязательно я буду в ней главным героем. Но он, главный герой, ошибаясь, путаясь обязательно будет искать себя.

В том, что случилось со мной, виноват прежде всего я сам. Но как вижу сейчас я ошибки и свои, и Алексеева. Нашу узорность, смешные стороны, правду и ложь. Это всегда шире теории, это жизнь, а ее передать может только искусство.

Что же самое важное? Любовь к другому человеку, творчество. Они преодолевают одиночество и страх смерти и обезличенность, которой грозит нам обыденность. Вот что я попытаюсь показать, насколько это в моих силах.

Итак, скажи, ты согласишься в меня? Ведь мне нужно так многому научиться, так много понять, для того, чтобы остаться верным своей цели.

Кто же как не ты, мой друг и жена, сможешь в этом? Пойми меня, поверь в то, что по-другому я не могу...

Наперед знаю, что буду исписывать снова горы макулатуры и переживать по поводу каждого неудачного места. Но, ты знаешь, открою тебе маленький «секрет»: иначе я просто не могу и злюсь больше всего не тогда, когда устаю, а когда не устаю или не успеваю устать как следует.

Ну, да хватит об этом».

Я не знаю, насколько убедили Иринку мои доводы, но

больше мы не говорили на эту тему.

Не произнесенной осталась мысль о том, что впредь заниматься философией в полную силу мне не позволят мои обязанности перед нашей семьей. Неопределенная надежда на то, что скоро у нас появится первенец, становилась все бесспорней. И я ни минуты не колебался.

Но, все равно было грустно.

Я начал писать повесть о странном юноше, который летал во сне и умер, спасая в реке тонущего ребенка. При этом и я чувствовал себя как-то странно. Ведь это я летал в необычных цветных снах. И как будто был знаком с главными героями. Отцом юноши был майор Козлов, а матью – мама моего друга по школе в Закарпатье. А главным героем был Валера Лобачев, с которым я дружил с первого класса в Мукачево. Я описывал жизнь в маленьком военном городке и самолеты, и нелегкую службу военных.

Я написал довольно много и продолжал повесть после возвращения домой.

Неожиданно я узнал от кого-то из приятелей, вернувшихся позже меня из Чагана, о несчастном случае с моими бывшими сослуживцами по эскадрилье. Две семьи с женами и детьми перевернулись на перегруженной лодке, и все до одного утонули в том самом месте, где умер герой моей повести – на быстрине за пристанью.

Я как сейчас помню этих ребят: один высокий, тонкий, черноусый, а второй большой, светловолосый – оба моложе

меня. Говорили, что они возвращались с пикника на острове и были пьяны.

Но меня так поразило мистическое совпадение места гибели моего вымышленного героя и реальных людей, что я забросил эту тему, и повесть почти пятьдесят лет так и оставалась не законченной.

Однако, в конце концов я взялся и за нее. Подсократил основную часть, придумал продолжение – уже о нашем времени. Не ладилось только с названием. Изрядно помучившись, я снова стал перелистывать увесистую пачку пожелтевших и ломких листков.

И тут мой взгляд упал на подробный план, который я составил где-то посреди незаконченной работы и название: «Когда мы научимся летать».

Я понял, что ничего лучше уже не придумаю...

## Из Гейне

На время службы в армии пришлось пик моих знаний немецкого языка.

Дело в том, что кроме подготовки статьи, я поставил перед собой задачу сдать кандидатский минимум по иностранному языку. С этой целью я выписал на год пару газет на немецком языке.

Из каждой газеты я вырезал статьи и таскал с собой на службу, утыкаясь в них при каждом удобном случае. Зимой следующего года я без труда сдал на «отлично» экзамен в педагогическом институте Семипалатинска.

Каждый раз, когда заканчиваю писать очередную порцию своих «клипов», я заглядываю в папку с кучей пожелтевших листков в надежде отыскать что-то свежее.

Так я наткнулся на несколько листков форматом поменьше, очевидно, вырванных из какого-то блокнота. На моих листках были написаны на немецком четыре стихотворения Гейне, которые передавали разные стороны дарования Поэта: от лиризма и тонкой иронии до неприкрытого трагизма. Почти все они были переведены на 95%. Я только немного подправил рифму. Каждое из трех первых стихотворений было в свое время переведено нашими первоклассными поэтами: Блоком и Маршаком. Поэтому у меня была прекрасная возможность, пользуясь интернетом, сравнить с этими

образцами мои пробы полувековой давности.

Я пришлю тебе фиалки

Я пришлю тебе фиалки,  
Свежей утренней зарею.  
Ярких роз благоуханье  
Подарю порой ночью.  
Но поймешь ли смысл посланья  
В красоте цветов сокрытый?  
Будь ты днем благочестивой,  
А в ночи люби открыто.

Письмо, что ты мне написала

Письмо, что ты мне написала,  
Где твердишь, что совсем разлюбила  
Меня убедило не очень -  
Оно слишком длинным было.  
Почти без единой пометки  
Целых двенадцать листочков -  
Подробно ведь так не пишут,  
Если ставить намерены точку.

Если женщина изменила

Если женщина изменила,  
Ты в другую влюбиться попробуй.  
Или город оставь постылый  
И другую найди дорогу.  
Встретишь озеро голубое,  
В окружении ив плакучих.  
Здесь ты выплачешь свое горе,  
Может, станет немного лучше.  
А когда заберешься в горы,  
И вскарабкаешься на вершину,  
Ты услышишь орлиный клекот,  
И поймешь своих бед причину.  
Хорошо вам с орлом в вышине,  
Будто заново здесь рожден.  
И тем, что оставил в другой стороне -  
Не очень-то огорчен.

Если перевод трех первых стихотворений не вызвал у меня особых сомнений, то с подготовкой к печати четвертого, мне пришлось повозиться.

«Под черным парусом мой корабль...»

Слова, безусловно, цепляли. Я начал вспоминать: да, это были строки перевода из Гейне.

Под черным парусом мой корабль  
Плывет по морю невзгод.

Вторая строка вызвала у меня некоторое сомнение. Не

слишком ли кардинально? Ведь, если речь идет о черном парусе на корабле, то, может быть, лучше оставить и реальное море. Получилось так.

Под черным парусом мой корабль  
По бурному морю плывет.

Нет, лучше не стало. Кроме того, понятно, что «черный парус» – это метафора, кстати, очень сильная, характеризующая трагическое положение поэта. А вторая строка ничего не добавляет к этому настроению, а только его продолжает и работает на дополнение реальности корабля и моря. На самом деле, ничего этого нет.

Есть только поэт в его трагической реальности. Поэтому, пусть будет так.

Под черным парусом мой корабль  
Плывет по морю...

Чего? Тут нужен сильный эпитет, возможно даже и не относящийся к реальному морю. Поэтому какой? Что мучает поэта, о чем он волнуется? Может быть, лучше так?

Под черным парусом мой корабль  
Плывет по морю тревог.  
Ты знаешь сама, как мне тяжело -



Я болен и изнемог.

Теперь второе четверостишие. Здесь поэт раскрывает, что же его мучает.

Как ветер изменчиво сердце твое.

Куда оно повернет?

Последние строки стихотворения у Гейне повторяют две первые.

Только я взял на себя смелость оставить их такими, какими они были у меня первоначально. Таким образом, мне пришлось изменить всего одну рифму из записей 1975 года.

Под черным парусом мой корабль

Под черным парусом мой корабль

Плывет по морю тревог.

Ты знаешь сама, как мне тяжело -

Я болен и изнемог...

Как ветер изменчиво сердце твое.

Куда оно повернет?

Под черным парусом мой корабль

Плывет по морю невзгод.